



**Библиотека
Московской
школы
политических
исследований**

Библиотека Московской школы
политических исследований

Редакционный совет:

А. Н. Мурашев

В. А. Найшуль

Е. М. Немировская

Ю. П. Сенокосов

А. Ю. Согомонов

М. Ю. Урнов

А. Кара-Мурза

Свобода и порядок

Из истории русской
политической мысли
XIX–XX вв.

*Московская
Школа
Политических
Исследований*

2009

ББК 66.1(2)5
К 21

Художественное оформление серии *Андрея Бондаренко*

Книга издана при поддержке Института "Открытое общество", группы компаний "Рольф", Российского гуманитарного научного фонда (проект № 08-03-00235а).

Кара-Мурза А.А.

К 21 Свобода и порядок. Из истории русской политической мысли XIX–XX вв. — М.: Московская школа политических исследований, 2009. — 248 с.

В этой книге известного российского философа и политолога А. Кара-Мурзы исследуется классическая для отечественной мысли проблема: можно ли в русском контексте органично совместить “свободу” и “порядок”? Сборник написан в жанре “интеллектуальных портретов”, и его персонажами (русскими либералами по преимуществу) стали политические мыслители XIX–XX вв., которые не только предельно обострили исследуемую проблематику, но и предложили практические модели, призванные обеспечить “русскую свободу” как надежную основу “русского порядка”.

ББК 66.1(2)5

© Кара-Мурза А., 2009
© Московская школа политических исследований, 2009

ISBN 978-5-91734-008-1

Содержание

Предисловие

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ЭССЕ

Александр Иванович Герцен:

“Чем сильнее становилось государство, тем слабее лицо...” . . . 15

Николай Сергеевич Волконский:

“Вместо порядка вы зальете страну такой кровью, какой она еще не видала...” . . . 30

Николай Алексеевич Хомяков:

“Так бы и не уезжал из деревни, если бы не эта политика...” . . . 55

Василий Андреевич Караулов:

“Церковь тогда только разовьет свою духовную мощь, когда она будет церковью, а не ведомством...” . . . 66

Михаил Александрович Стахович:

“Правительство систематически разрушало все попытки общественных организаций...” . . . 91

Павел Николаевич Милоков:

“Идти соединением либеральной тактики с революционной угрозой...” . . . 121

Александр Александрович Корнилов:

“Земельная и судебная реформы дали порядочных русских людей в большом числе...” . . . 146

Иван Павлович Алексинский:

“Недопустима для русского сознания утрата надежды победы жизни над смертью...” . . . 158

Георгий Петрович Федотов:

“Связать просветительский идеал с движущими силами русской жизни...” . . . 200

Владимир Васильевич Вейдле: “Россия так же единственна в европейском целом, как Англия или Италия...”	214
---	-----

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПОРТРЕТЫ

Борис Николаевич Чичерин и Иван Сергеевич Аксаков: два понимания русской свободы	233
Петр Бернгардович Струве и Михаил Андреевич Осоргин: два лика российского либерализма	240

Предисловие

В середине 1990-х гг., на волне российской демократизации (сейчас ясно, что уже тогда эта волна была скорее нисходящей), на страницах лучшего российского политологического журнала «Полис», редактируемого И. К. Пантиним, прошла большая дискуссия о сущности либерализма как идейно-политического течения и о его российских особенностях. Тогда отчетливо проявились себя две позиции, спор между которыми остался неоконченным, но в основе которого, как согласились все участники, оказалась проблема соотношения «свободы» и «порядка».

Первая позиция исходила из того, что либерализм — учение о свободном индивиде, проявляющем себя в экономике, политике, духовной сфере. Проблематика же «порядка» сводилась к тому, *как* из этих свободных индивидов создать устойчивое гармоничное общество.

Я защищал тогда (и защищаю сейчас) другую позицию, которая состоит в том, что «порядок» является не производной функцией, а *имманентным свойством* любого ответственного политического течения. Позволю самоцитату из наделавшей немало шуму статьи «Либерализм против хаоса»: «В том непрекращающемся споре различных идей и концепций, который представляет собой история политической мысли, единственным допустимым критерием может служить лишь практический ответ на вопрос, какая форма политической организации эффективнее противостоит общественному хаосу. Прочность политических систем, так же как устойчивость цивилизаций или культур, проявляется не в их непосредственном противостоянии друг другу, но в способности сдерживать внутренний энтропийный про-

цесс. Поэтому генезис политической науки и философии один — ощущение опасности политического и социального небытия. Из этого же ощущения рождается либерализм — определенный тип решения все той же “экзистенциальной проблемы”»*.

Значение либерализма, на мой взгляд, заключается в том, чтобы дать собственные ответы на вполне универсальные вопросы. «Универсальный вопрос политической мысли (которым задается в том числе и либерализм), по моему мнению, таков: “Как возможен социальный порядок, если он в данный момент отсутствует или находится под угрозой?”. А собственно либеральный ответ на этот вопрос состоит в следующем: “Общественный порядок возможен тогда и постольку, когда и поскольку допущена свобода человеческой личности”»**.

Итак, для меня либерализм — не как просто умонастроение, а именно как общественно-политический проект (сентиментализм или скептицизм, например, тоже умонастроения, но не претендуют на роль политических моделей) — обязан встроить в себя проблематику социального порядка.

История становления либерального проекта, как на Западе***, так и в России****, с очевидностью показывает: системный либерализм конституируется не столько на почве интеллигентского морализаторства, сколько на основе жестко-политологической констатации деградации и перспективы краха традиционалистских моделей порядка. Так, появление в России первых либеральных проектов

* А. А. Кара-Мурза. Либерализм против хаоса. Основные интенции либеральной идеологии на Западе и в России». //«Полис», 1994, № 3, с.118 .

** Там же.

*** См.: Очерки истории западноевропейского либерализма XVII–XIX вв. /Под общ. ред. А. А. Кара-Мурзы. М., Институт философии РАН, 2004.

**** Российский либерализм: идеи и люди / Под общей редакцией А.А.Кара-Мурзы. М.: Новое издательство, 2007.

(конституционно-реформаторских, просветительских и т.д.) явилось в первую очередь результатом осмысления причин и последствий всплесков «русской смуты» середины XVIII и рубежа XVIII–XIX столетий, связанных с крайней неустойчивостью самодержавно-бюрократического строя и его уязвимостью перед лицом «внутреннего варварства». А это означает, что Россия, с некоторой задержкой, пришла к общеевропейскому выводу, лежащему в основе либерального проекта как такового: человеческой цивилизации угрожает не только «варварство снизу» (Пушкин отчеканил формулу: «бунта бессмысленного и беспощадного»), но и «варварство сверху», ибо самовольная, неправовая власть оборачивается в конечном счете главным врагом не только искомого гражданского строя, но и самой государственности.

Либеральный социокультурный (и в этом контексте — политический) проект, таким образом, состоит в том, чтобы промыслить и реализовать срединный путь между деспотизмом и хаосом, между Сциллой неправовой «Власти» и Харибдой неправовой «Антивласти». Либерализация при таком подходе — есть способ социального упорядочивания, а индивидуальная свобода и гражданские права становятся надежной основой нового более эффективного социального порядка.

Предлагаемый читателю сборник написан в жанре «интеллектуальных портретов», и его персонажами стали те политические мыслители, которые способны, по мысли автора, не просто проиллюстрировать, а в значительной мере и *конституировать* русский либерализм как таковой.

Сколько было споров относительно определения социально-политической позиции **Александра Ивановича Герцена!** Но для меня несомненно: на протяжении всей жизни Герцен неизменно центрировал свою мысль вокруг проблематики «личности», индивидуального человеческого «лица». Во всех коловращениях социальных обстоятельств Герцен всегда отслеживал состояние и перспективы «русской личности»: даже сельская община в интерпретации позднего Герцена — это спасительное место именно для

индивидуальности, субстрат ее дальнейшего культивирования. Да, Герцен со временем все меньше и меньше доверял городскому «обществу»: оно ему казалось неизбежно идущим к «массовому», т.е. все более неспособным удерживать человеческую уникальность. Недаром в своих поздних текстах он неоднократно поднимал тему «сельского самоуправления», того, что некоторые спешно называли «социализмом», а правильное назвать — «земством». Герценовская забота именно о творческой личной индивидуальности никак не допускает его отлучения от проблематики либерализма.

Земскую линию русского либерализма, идущую от Герцена, продолжили развивать умеренные «провинциальные» земцы, фигуры которых представлены в настоящем сборнике: князь **Николай Сергеевич Волконский**, **Николай Алексеевич Хомяков**, **Михаил Александрович Стахович**. Эти фигуры роднит с Герценом упор на региональное и местное самоуправление. Закономерно и то, что эти люди составили со временем костяк умеренно-либерального направления в русской политике начала XX в. — таких политических организаций, как «Союз 17 октября» (его либеральное крыло) и Партия мирного обновления.

Классический кадетский либерализм представлен в книге именами двух лидеров Конституционно-демократической партии и одновременно крупнейших русских историков — **Павла Николаевича Милюкова** и **Александра Александровича Корнилова**. Взяв за некий образец русского развития эпоху Великих реформ Александра II, эти выдающиеся либералы были уверены: устойчивый и справедливый «русский порядок» возможен только на условиях приоритетного развития политической культуры, непременным атрибутом которой является не только местное самоуправление, но и развитый парламентаризм, основанный на закреплённой в праве свободной политической конкуренции.

Анализ либеральных поисков, имевших место в русской эмиграции, старающейся осмыслить не только пути развития исторической России, но и причины большевистского срыва, и — главное — перспективы России послебольше-

вистской читатель найдет в главах, посвященных **Георгию Петровичу Федотову** и **Владимиру Васильевичу Вейдле**.

В книгу вошли также биографические эссе, посвященные двум малоизвестным фигурам, чье высвобождение из забвения автор относит к своим заслугам. Уникальна фигура **Василия Андреевича Караулова**, стремившегося положить в основу будущего порядка не только кадетский социальный реформизм (в этом чувствуются отголоски народнического прошлого Караулова), но и глубокую христианскую религиозность, несвойственную большинству кадетов. Не менее примечательна эволюция взглядов **Ивана Павловича Алексинского**, начинавшего как радикальный критик самодержавно-приказной бюрократии (абсолютно «антигосударственной», по его мнению, корпорации) и ставшего впоследствии (по тем же основаниям!) одним из лидеров антибольшевистской борьбы и Белого движения.

В отдельном разделе представлены в книге и внутрилиберальные интеллектуальные «дуэли», центрирующиеся вокруг проблемы соотношения свободы и порядка: **Борис Николаевич Чичерин** — **Иван Сергеевич Аксаков** и **Петр Бернгардович Струве** — **Михаил Андреевич Осоргин**.

...Сегодняшней России, как никогда, нужна *реабилитация либерального проекта* — не только как эмансипаторского, но и как глубоко конструктивного. Это подразумевает в том числе и вывод из небытия и предъявление общественному сознанию подлинных русских либералов — истинных патриотов России. Скромный вклад в эту работу вносит и возглавляемый мною Национальный фонд «Русское либеральное наследие». По нашей инициативе и при большой общественной поддержке в регионах России открыты мемориалы героям этой книги: Н. А. Хомякову — в Смоленске; Г. П. Федотову — в Саратове; Б. Н. Чичерину и И. С. Аксакову — в Москве; В. В. Вейдле — в Перми; М. А. Стаховичу — в Ельце; А. А. Корнилову — в Иркутске; князю Н. С. Волконскому — в Чаплыгине (бывшем Раненбурге); И. П. Алексинскому — на его родине в с. Зимарово (ныне Московской области). Работа будет продолжена: 2010-й год — юбилейный для В. А. Караулова и П. Б. Струве.

Автор признателен Московской школе политических исследований: именно на ее заседаниях, перед заинтересованной и благодарной аудиторией были опробованы многие новые идеи. Среди выпускников и слушателей МШПИ — немало единомышленников автора, ставших в последние годы и его активными сотрудниками.

*Алексей Кара-Мурза,
лето 2009 г.*

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ЭССЕ



*Александр Иванович
Герцен:*
«Чем сильнее
становилось государство,
тем слабее лицо...»

Предисловие

В свое время большевистские пропагандисты немало преуспели в том, чтобы записать русское свободомыслие XIX в. в собственную, коммунистическую родословную. Декабристы, Герцен, демократическое разночинство — все это, оказывается, было лишь необходимым прологом к появлению ленинского, а затем сталинского большевизма. Следует признать, что это было неглупо задумано и с усердием реализовано. Последствия подобной фальсификации ощущаются и сегодня: многие, относящие себя к либералам, к примеру, до сих пор с некоторым подозрением относятся к Герцену, смутно припоминая его критичный взгляд на современную ему Европу, а также приверженность некоей «русской общинности». Пора наконец признать, что *политическая* реабилитация жертв большевизма, при всей своей непоследовательности и неполноте, все же значительно опередила у нас процесс *интеллектуальной* реабилитации тех, чьи убеждения, вера, борьба были неправомерно искажены коммунистическим агитпропом и встроены в контекст чуждой большевистской традиции. И одним из первых в ряду тех, кто нуждается в подобной реабилитации, стоит Александр Иванович Герцен (1812–1870) — выдающийся мыслитель, политик и публицист.

А. И. Герцен родился 6 апреля 1812 г. в Москве. Он был внебрачным сыном богатого помещика Ивана Александровича Яковлева и немки Луизы Гааг, которую отец, возвращаясь после многолетнего путешествия по Европе, взял с собою в Москву. Мальчик получил вымышленную фамилию

Герцен (от нем. Herz — сердце). В 1833 г. Александр Герцен окончил Московский университет со степенью кандидата и серебряной медалью. В следующем году за участие в молодежных кружках был арестован; девять месяцев провел в тюрьме, после чего, по его воспоминаниям, «нам прочли, как дурную шутку, приговор к смерти, а затем объявили, что, движимый столь характерной для него, непозволительной добротой, император повелел применить к нам лишь меру исправительную, в форме ссылки».

Ссылку Герцен отбывал в Перми, Вятке, Владимире, потом в Новгороде. С 1840 г. жил в Москве, занимался литературной деятельностью. С 1847 г. — в эмиграции. Скончался А. И. Герцен в Париже от пневмонии 21 января 1870 г., не дожив до пятидесяти восьми лет. Похоронен в Ницце, рядом с рано умершей женой Н. А. Захарьиной...

Европа или не-Европа?

Еще в ранней работе «Двадцать осмое января» (1833) молодой Герцен задавался ключевым для цивилизационной идентификации России вопросом «Принадлежат ли славяне к Европе?» и недвусмысленно отвечал: «Нам кажется, что принадлежат, ибо они на нее имеют равное право со всеми племенами, приходившими окончить насильственной смертью дряхлый Рим и терзать в агонии находившуюся Византию; ибо они связаны с нею ее мощной связью — христианством; ибо они распространились в ней от Азии до Скандинавии и Венеции».

Но далее с необходимостью вставал другой вопрос: если существует славяно-европейское генетическое сродство, откуда так велико и разительно различие между Россией и Европой? В той же работе 1833 г. Герцен развивает мысль о том, что дело — в существенном отставании России во времени, обусловленном не только неблагоприятными факторами ее развития, но и чрезвычайно благоприятными факторами развития Европы. Среди последних Герцен, находившийся тогда под влиянием классической немецкой диалектики, особо выделял то обстоятельство, что, в отличие от России, развитие Европы протекало в условиях столкновения много-

образных противоречий, которые и «высекали искры прогресса»: «Доселе развитие Европы была непрерывная борьба варваров с Римом, пап с императорами, победителей с побежденными, феодалов с народом, царей с феодалами, с коммунами, с народами, наконец, собственников с неимущими. Но человечество и должно находиться в борьбе, доколе оно не разовьется, не будет жить полную жизнью, не взойдет в фазу человеческую, в фазу гармонии, или должно почтить в самом себе как мистический Восток. В этой борьбе родилось среднее состояние, выражающее начало слияния противоположных начал, — просвещение, европеизм. Итак, только в борьбе противоречий и складывается прогресс, просвещение, европеизм, развитая цивилизация.

Двойственность России, таким образом, состояла в том, что, будучи по происхождению частью европейской цивилизации, она, лишенная исторического динамизма, «сложившаяся туго и поздно», не развилась в Европу. В силу особенностей своего географического положения («огромное растяжение по земле») и истории Россия была более склонна к «восточному созерцательному мистицизму» и «азиатской стоячести»: «В удельной системе не было ни оппозиции общин, ни оппозиции владельцев государю... Двухвековое иго татар способствовало России сплавить в одно целое, но снова не произвело оппозиции. Основалось самодержавие — а оппозиции все не было».

Эту же мысль об односторонности и дефицитности продуктивного противоречия в русской жизни Герцен впоследствии разовьет в работе «О развитии революционных идей в России» (1851): «В славянском характере есть что-то женственное; этой умной, крепкой расе, богато одаренной разнообразными способностями, не хватает инициативы и энергии. Славянской натуре как будто недостает чего-то, чтобы самой пробудиться, она как бы ждет толчка извне».

Петр Великий — «варвар-просветитель»

Именно здесь находил молодой Герцен разгадку того мощного цивилизационного импульса, который был задан российскому обществу преобразованиями Петра Великого —

человека «с наружностью и духом полуварвара», но «гениального и неизбежного в великом намерении приобщить к человеческому развитию страну свою». Гений Петра, по Герцену, заключался именно в том, что он впервые *породил в России оппозицию* — ...в своем собственном лице: «Явился Петр! Стал в оппозицию с народом, выразил собою Европу, задал себе задачу перенести европеизм в Россию и на разрешение ее посвятил жизнь».

Бесспорная заслуга Петра Великого, согласно Герцену, состояла в честном осознании бесперспективности косной Московской Руси, в понимании необходимости ее «очеловеченья»: «В этом невежественном, тупом и равнодушном обществе не чувствовалось ничего человеческого. Необходимо было выйти из этого состояния или же сгнить, не достигнув зрелости».

Принято считать, что Герцен долгое время был в России одним из лидеров «западнической партии». Но, как представляется, изначальный выбор в пользу «западничества» был для него не столько рычагом односторонней и тотальной победы над «самобытниками», сколько способом наиболее результативного решения проблемы продуктивного синтеза в России «новации» и «традиции». Ведь не зря Герцен неоднократно подчеркивал двуединство комплекса «западничество — славянофильство» и то глубинно общее, что объединяло «друзей-недругов»: «Головы смотрели в разные стороны — сердце билось одно».

По всей видимости, раннего Герцена не устраивала в «славянофильстве» вовсе не защита «традиции» как таковой, а неконструктивность упора на реанимацию порушенной и к тому же мифологизированной традиции, неспособность славянофилов продуктивно разрешить потенциально живительное противоречие «традиция-новация». Западник Герцен и сам не утаивал свою основную претензию к славянофильству: он видел в нем скорее «инстинкт» и «оскорбленное народное чувство», нежели полноценное «учение» и уж тем более «теорию». Поэтому и «западничество» для Герцена имело смысл не столько как партия, добивающаяся одностороннего выигрыша, но как более осмысленный (т.е. рациональный), чем у славянофилов, путь к достижению продуктивной интеграль-

ной формулы в конфликте традиции и новации. Ведь изначальная посылка русских западников, по мнению Герцена, исторически бесспорна: «Кнут, батоги, плети являются гораздо прежде шпицрутенов и фухтелей». А потому более осмысленна и плодотворна и конечная цель «европейцев»: «Европейцы... не хотели менять ошейник немецкого рабства на православно-славянский, они хотели освободиться от всех возможных ошейников».

Поэтому уже у молодого Герцена резко вычерчивается и критическая по отношению к Петру-реформатору линия: петровская практика «варварской борьбы против варварства» не в состоянии была обеспечить искомой «человеческой вольности». Насильственное озападничество, европеизация «из-под кнута» ведет, по Герцену, не к свободе, а к утрате последних остатков русской свободы: «Гнет, не опирающийся на прошедшее, революционный и тиранический, опережающий страну, — для того чтоб не давать ей развиваться вольно, а из-под кнута, — европеизм в наружности и совершенное отсутствие человечности внутри — таков характер современный, идущий от Петра».

Отсюда вывод: насильственное насаждение на Руси Европы не привело к европейскому результату — свободе личности. Как ранее «азиатская» безальтернативность давила русского человека, так и ныне реформаторская «безальтернативность», убившая потенциал животворного диалога нового со старым, также парализовала становление российской личности...

О вырождении петровского наследства

Но если Петр все-таки затеял с Россией сложнейший культурный эксперимент с определенными шансами на выигрыш, то его менее талантливые и творческие преемники быстро разтранжирили петровское наследство. Вместо насилия во имя все-таки просвещения, от петровского замысла осталось голое, бессмысленное насилие. В работе «Молодая и старая Россия» (1862) Герцен констатирует окончательное вырождение послепетровской государственности — не только в годы «ни-

колаевщины», но и «александровских метаний»: «В Петербурге террор, самый опасный и бессмысленный из всех, террор оторопелой трусости, террор не львиный, а телячий... Неурядица в России и лихорадочное волнение идет оттого, что правительство хватается за все и ничего не выполняет, что оно дразнит все святые стремленья человека и не удовлетворяет ни одному, что оно будит — и бьет по голове проснувшихся».

Вопреки распространенному мнению о том, что Россия — страна по природе своей предельно консервативная, Герцен был одним из первых, кто заметил, что беда России, напротив, в практическом *отсутствии культурного консерватизма* в точном смысле слова: «Нельзя говорить серьезно о консерватизме в России, — писал он. — Мы можем стоять, не трогаясь с места, подобно святому столпнику, или же пятиться назад подобно раку, но мы не можем быть консерваторами, ибо нам нечего хранить». Сама российская государственность предстает у Герцена не оплотом традиции, а разнородным и полным противоречий «разностильным зданием» — «без архитектуры, без единства, без корней, без принципов»: «Смесь реакции и революции, готовая и продержаться долго, и завтра же превратиться в развалины».

Путь в Европу: искушения и ловушки

Нестандартность мышления Герцена состояла в том, что он — безусловный европеист по культуре — не страшился указывать на издержки и опасные следствия принудительной и потому поверхностной европеизации России.

Отход Герцена от прямолинейного западничества не означал перехода в славянофильский лагерь. В отличие от славянофилов, Герцен до конца остался резким критиком допетровской Руси. Главным критерием его оценок оставался все тот же — наличие в обществе «свободы лица»: «У нас лицо всегда было подавлено, поглощено, не стремилось даже выступить, — писал Герцен в работе «С того берега» (1849). — Свободное слово у нас всегда считалось за дерзость, самобытность — за крамолу; человек пропадал в государстве, распускался в общине». Еще энергичнее описал Герцен косность древней Московии в

работе «О развитии революционных идей в России» (1850): «Нельзя не отступить в ужасе перед этой удушливой общественной атмосферой, перед картиной этих нравов, являвшихся лишь безвкусной пародией на нравы Восточной империи».

Но и петровское насаждение сверху европейских порядков не привело в России к существенному расширению личностной свободы: «Все, что можно было переписать из шведских и немецких законодательств, все, что можно было перенести из муниципально-свободной Голландии в страну общинно-самодержавную, все было перенесено; но неписанное, нравственно обуздывающее власть, *инстинктуальное* признание прав лица, прав мысли, истины не могло перейти и не перешло». Герцен формулирует знаменитый парадокс, который потом очень часто использовался русскими антизападниками, но который свидетельствует лишь о последовательном либерализме Герцена, ставящего «человечность» выше формальной принадлежности к западной партии: «Рабство, — писал Герцен, — у нас увеличилось с образованием; государство росло, улучшалось, но лицо не выигрывало; напротив, чем сильнее становилось государство, тем слабее лицо». Человеческая личность в России, согласно Герцену, оказалась стиснутой двумя формами несвободы — принудительной азиатчиной старой Московии и принудительным же европеизмом послепетровской России: «Кнутом и татарами нас держали в невежестве, топором и немцами нас просвещали, и в обоих случаях рвали нам ноздри и клеймили железом».

В какой Европе разочаровался Герцен?

В огромной литературе о Герцене ключевыми моментом эволюции его политических взглядов неизменно считается «разочарование в Европе». Что же так неприятно поразило при встрече с реальной Европой западника Герцена? В работе «Концы и начала» (1862) он сам написал об этом, и его умонастроение выдает в нем несомненного либерала: «Я с ужасом, смешанным с отвращением, смотрел на беспрестаннодвигающуюся, кишащую толпу, предчувствуя, как она у меня отнимет полместа в театре, в дилижансе, как она бро-

сится зверем в вагоны, как нагреет и насытит собою воздух... Люди, как товар, становились чем-то гуртовым, оптовым, дюжинным, дешевле, плоше врозь, но многочисленнее и сильнее в массе. Индивидуальности терялись, как брызги водопада, в общем потоке». По существу, Герцен уловил первые дуновения *грядущих тоталитарных форм* общества, возросших там, где европейские принципы свободы утрачивали свой иммунитет перед натиском «массового общества». Его размышления, кстати, были созвучны опасениям самих европейских либералов, например современника Герцена — Джона Стюарта Милля. В своем знаменитом эссе «О свободе» Милль приходит к выводу о том, что в развитии каждого европейского народа, похоже, «есть предел, после которого он останавливается и делается Китаем». Культурное упрощение Европы, жизнь, заполненная не творческими стремлениями, а «пустыми интересами», приводит, согласно и Миллю, и Герцену, к «новой китайщине». Мещанская цивилизация, утрачивая былой импульс к развитию, может привести к полному стиранию человеческого лица, к всеобщей нивелировке, наподобие старой «азиатчины».

По сути дела, Герцен стал одним из первых европейских мыслителей, кто, задолго до Х. Ортеги-и-Гассета, Э. Фромма и Х. Арендт, подверг критике те явления, которые позднее были названы «*бегством от свободы*», и торжество которых породило в конечном счете европейские формы авторитаризма и тоталитаризма. Оказалось, быть европеистом — это не означает безудержно восхвалять «любую Европу». Ответственный европеизм — это в большой степени критика Европы с позиций фундаментальных культурных первооснов Европы, и в первую очередь — с позиции принципов «свободы лица» и личного достоинства.

Сам Герцен отлично понимал, что его постепенно накапливающееся критическое отношение к Западу может сыграть на руку противникам русского европеизма, но интеллектуальная честность была для него превыше всего: «Я знаю, что мое воззрение на Европу встретит у нас дурной прием. Мы, для утешения себя, хотим другой Европы и верим в нее так, как христиане верят в рай. Разрушать мечты

вообще дело неприятное, но меня заставляет какая-то внутренняя сила, которой я не могу победить, высказывать истину — даже в тех случаях, когда она мне вредна». Герцен, однако, до конца жизни продолжал ценить Европу именно за это — за возможность *свободно высказывать истину*. Еще в начале эмиграции, в 1849 г. он писал друзьям о том, почему сознательно выбирает Европу: «Не радость, не рассеяние, не отдых, не даже личную безопасность нашел я здесь... Остаюсь затем, что борьба — *здесь*, что несмотря на кровь и слезы здесь разрешаются общественные вопросы, что здесь страдания болезненны, жгучи, но *гласны*, борьба открытая, никто не прячется... За эту открытую борьбу, за эту речь, за эту гласность — я остаюсь здесь...». И далее Герцен формулирует принцип, который он пронес через всю жизнь и который позволяет говорить о его несомненной приверженности либеральной идее: «Свобода лица — величайшее дело; на ней и только на ней может вырасти действительная воля народа. В себе самом человек должен уважать свою свободу и чтить ее не менее как в ближнем, как в целом народе».

Между либерализмом и демократией

А. И. Герцен принципиально различал «демократию» и «мещанство». Известные претензии Герцена — либерала и демократа одновременно — к либералам-охранителям сводились к тому, что те оказались не готовы к демократизации своих либеральных убеждений и фактически потакали «омещаниванию» и «новой китайской стоячести». Да, полагал Герцен, были времена, когда претензию на свободу личности высказывало лишь образованное меньшинство, и либеральный аристократизм был тогда естествен и оправдан: «Я не моралист и не сентиментальный человек; мне кажется, если меньшинству было действительно хорошо и привольно, если большинство молчало, то эта форма жизни в прошлом оправдана. Я не жалею о двадцати поколениях немцев, потраченных на то, чтобы сделать возможным Гёте, и радуюсь, что псковский оброк дал возможность воспитать Пушкина». Но защитники привилегий узкого меньшинства

(в том числе и на свободу) оказались в тупике и смятении, когда на авансцену истории явился — «не в книгах, не в парламентской болтовне, не в филантропических разглагольствованийх, а на самом деле — ...работник с топором и с черными руками, голодный и едва одетый рубищем. Этот “несчастный, обделенный брат”, о котором столько говорили, которого так жалели, спросил, наконец, где же *его* доля во всех благах, в чем *его* свобода, *его* равенство, *его* братство».

Герцен, не оставляя своих либеральных убеждений (их основа, по прежнему, «свобода лица»), был готов принять этот вызов демократизма — его идеалом общественного служения всегда были «политические Дон-Кихоты» наподобие Дж. Гарibaldi и Дж. Мадзини.

Между тем русские оппоненты Герцена — либералы-государственники К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин и др. — предпочли охранение элитарных свобод, теперь уже не только от самовластия верхов, но и от посягательств проснувшихся низов. Результат этого спора внутри либерального лагеря известен — в России не удалось удержать ни демократии, ни либерализма...

Социализм против «азиатчины»

Разработка А. И. Герценом концепции «русского социализма», вопреки многим представлениям, нисколько не отличала его от русско-европейской либеральной традиции. Напротив, «социализм» Герцена, как он его понимал, — это способ сбережения «свободы лица», форма защиты цивилизации от наступления «новой китайщины». Очень характерно, что во многих работах Герцен ставит «русский социализм» в один ряд с «американской моделью». Он неоднократно высказывает мысль, что для своего спасения европейская цивилизация должна получить новый импульс со стороны молодых, свежих наций: «Мы ничего не пророчим; но мы не думаем также, что судьбы человека пригвождены к Западной Европе. Если Европе не удастся подняться путем общественного преобразования, то преобразуются иные страны; есть среди них и такие, которые уже готовы к этому движению, другие к нему готовятся». Для Герцена бы-

ло несомненно, что одна из этих молодых наций, которой принадлежит будущее, — это Северо-Американские Штаты; другой, возможно, станет Россия — «полная сил, но вместе и дикости».

Итак, разочаровавшийся в современной ему Европе, Герцен вовсе не отказывается от принципов «свободы лица», как хотели представить дело его антизападнические, в том числе большевистские интерпретаторы. Герцен оказывается вовлечен в общеевропейский кризис жизни и сознания, и он, вместе с западными мыслителями, настойчиво ищет пути выхода, ибо, по его глубокому убеждению, исход борьбы «старого европеизма» и «новой китайщины» еще вовсе не предрешен. Спасти личностное начало или окончательно утратить его — процесс вероятностный, и Герцен неоднократно подчеркивает, что все зависит от способности свободных личностей противостоять давлению среды и принудительной нивелировке. Позднее выдающийся русский либеральный мыслитель П. И. Новгородцев особо подчеркивал это достоинство мысли Герцена — приоритет *открытости и вероятностности истории* перед верой в заранее сконструированный общественный идеал. Действительно, Герцен так оценивал состояние и политические перспективы Европы: «Эпоха линиянья, в которой мы застали западный мир, самая трудная; новая шкура едва показывается, а старая окостенела, как у носорога, — там трещина, тут трещина... Это положение между двух шкур необычайно тяжело. Все сильное страдает, все слабое, выбивавшееся на поверхность, портится; процесс обновления неразрывно идет с процессом гниения, и который возьмет верх — неизвестно...». Будучи внимательнейшим аналитиком европейской жизни, Герцен ставил вопрос предельно конкретно: «Вопрос действительно важный, до которого Милль не коснулся, вот в чем: существуют ли всходы новой силы, которые могли бы обновить старую кровь?.. А этот вопрос сводится на то, потерпит ли народ, чтоб его окончательно употребили для удобрения почвы новому Китаю и новой Персии... Вопрос этот разрешат события — теоретически его не разрешишь. Если народ сломится, новый Китай и новая Персия неминуемы».

Боль за русского человека

Размышления о судьбе Европы всегда являлись для А. И. Герцена выражением боли за те «колоссальные уродства», которым подвергается человеческая личность в России. В работе «С того берега» (1849) эти мотивы звучат особенно отчетливо. Слова Герцена, написанные им полтора века назад, впрочем, полностью применимы и по отношению к русскому двадцатому веку, да и к сегодняшним дням — в немалой степени: «Мы выросли под террором, под черными крыльями тайной полиции, в ее когтях; мы изуродовались под безнадежным гнетом и уцелели кой-как... Томимые желанием знать, мы подслушиваем у дверей, стараемся разглядеть в щель... Мудрено ли после этого, что мы не умеем уладить ни внутреннего, ни внешнего быта, лишнее требуем, лишнее жертвуем, пренебрегаем возможным и негодуем за то, что невозможное нами пренебрегает; возмущаемся против естественных условий жизни и покоряемся произвольному вздору».

В итоге в России, по мысли Герцена, начал доминировать тип «псевдоевропейцев» — людей, которых он часто называл «амфибиями» и главными видовыми признаками которых считал неумение ни сохранить русскую традицию, ни усвоить западную цивилизацию. В поздних «Письмах противнику» (1865) Герцен отмечал, что в результате ориентации русского самодержавия на «пруссские образцы» худшие свойства немца приобрели в России гипертрофированное и опасное выражение: «В мещанском мизере немецкой жизни фельдфебельству негде было расправить члены; на русском черноземе благодаря помещичьему закалу оно быстро развилось до заколачивания в гроб и до музыки в шпорах». Герцен определял существо правящего класса в России как сращение «немецкого бюрократа» с «византийским евнухом».

Можно ли доверить Россию «новым людям»?

Между тем, по мнению Герцена, не менее опасный тип личности формируется и в среде русской оппозиции. Горестные оценки изуродованной русской личности с особой силой ста-

вили перед Герценом вопрос: кто же в таких условиях способен в России взять на себя инициативу освобождения? Его очень беспокоил нарождающийся тип человека, в сегодняшнем дне абсолютно «лишнего» и именно поэтому часто готового все растоптать в истовом стремлении в «день завтрашний». Герцен называл эту новую породу русских, народившуюся в годы николаевского безвременья, «желчными людьми», «*желчевиками*»: «Первое, что нас поразило в них, — злая радость их отрицания и страшная беспощадность... Там, где наш брат останавливался, оттирал, смотрел, нет ли искры жизни, они шли дальше пустырем логической дедукции и легко доходили до тех резких, последних выводов, которые пугают своей радикальной бойкостью. В этих выводах русский вообще пользуется перед европейцем страшным преимуществом — у него нет ни традиции, ни родного, ни привычки». Таким образом, проблема, по Герцену, состояла в том, что новый тип русского оппозиционера — прямой результат насильственной, а потому поверхностной и ненадежной европеизации России: «Всего безопаснее по опасным дорогам проходит человек, не имеющий ни чужого добра, ни своего. Это освобождение от всего традиционного доставалось не здоровым, юным натурам, а людям, которых душа и сердце были поломаны по всем составам... Чему же удивиться, что юноши, вырвавшиеся из этой пещеры, были юродивые и больные?». Герцен очень опасался, что именно эти «новые люди», которым в России «*ничего терять*», начнут в скором времени определять будущее страны. К несчастью, он не ошибся...

Есть ли спасение?

В каком же направлении Герцен ищет выход из тисков псевдоевропеизации? Его европейская ипостась не приемлет возвращения назад, в допетровскую Московию. Ведь «кнут, батоги, плети являются гораздо прежде шпицрутенов и фухтелей». Но и идти вперед по дороге, по которой ведет «цивилизатор с кнутом в руке, с кнутом же в руке преследующий всякое просвещение», Герцен не хочет. И он приходит к нетривиальному выводу: вернуться надо, но не к «диким фор-

мам» допетровской Руси, а к ее преображенному «человеческому содержанию»: «Возвратиться к селу, к артели работников, к мирской сходке, к казачеству — другое дело; но возвратиться не для того, чтоб их закрепить в неподвижных азиатских кристаллизациях, а для того, чтоб развить, освободить начала, на которых они основаны, очистить от всего наносного, искажающего, от дикого мяса, которым они обросли». Разница этих выводов зрелого человека с рассуждениями молодого Герцена состоит в том, что на место волевого усилия «царя-реформатора», которого ранний Герцен искренне считал адекватным заменителем европейской Реформации («у нас целый переворот, кровавый и ужасный, заменился гением одного человека»), должна прийти подлинная Реформация, как переосмысление национальных первоисточков — низовой демократии, не покоренной ни «татарством», ни «немецкой».

Фактически именно русскую Реформацию Герцен и называл «русским социализмом». Но и эту стадию Герцен не считал ни обязательной, ни последней: «Социализм разовьется во всех фазах своих до крайних последствий, до нелепостей. Тогда снова вырвется из титанической груди революционного меньшинства крик отрицания, и снова начнется смертная борьба, в которой социализм займет место нынешнего консерватизма и будет побежден грядущей, неизвестною нам революцией... Вечная игра жизни, безжалостная, как смерть, неотразимая, как рождение». Прав П. И. Новгородцев: «Самую веру в социализм Герцен растворяет в вечном потоке истории».

Общинность как прообраз земства

Только в этом контексте можно понять отношение Герцена к русской общине. Именно в сложности герценовской позиции лежит разгадка того факта, что спустя несколько десятилетий деятели русского земского движения смогли с полным правом записать Герцена в ряд родоначальников «либерального земства».

Герцен никогда не идеализировал общину, но и не мог не отметить, что община, при всех ее недостатках и даже поро-

ках, — едва ли не единственный институт, который во всех драматических коллизиях русской истории оказывался способным уберечь остатки «свободы лица». В работе «Русский народ и социализм» (1851) Герцен перечислял эти несомненные заслуги русской общины в деле сбережения личности от натиска внешних, принудительных форм: «Община спасла русский народ от монгольского варварства и от императорской цивилизации, от выкрашенных по-европейски помещиков и от немецкой бюрократии. Общинная организация, хотя и сильно потрясенная, устояла против вмешательства власти...».

А в известных «Письмах Линтону» (1854) Герцен в наиболее четком виде сформулировал те принципы, которые русская община имеет шанс (именно шанс — не более!) реализовать, чтобы обеспечить в конечном счете свободное развитие личности. Главное здесь в том, что община для Герцена — это возможный фундамент «очеловеченной собственности», народного низового самоуправления и представительства — модель, которую затем необходимо распространить на все общество: «Сохранить общину и дать свободу лицу, распространить сельское и волостное самоуправление по городам и всему государству, сохраняя народное единство, — вот в чем состоит вопрос о будущем России».

Герценовский расчет на общинное самоуправление, как прообраз будущего общенационального гражданского общества, оказался несостоятельным. Но это была еще одна попытка ответить на общий вопрос, волнующий русских либералов: как в России пройти между Сциллой реакции и Харибдой революции? Как уберечь на этом пути человеческую личность и ее достоинство? «Третий путь» Герцена не был реализован — впрочем, точно так же, как и все иные либеральные предложения.

Что ж, Александр Иванович Герцен был абсолютно русским человеком и, несмотря на свою гениальность, вполне подпадал под им же самим сформулированные гениальные определения русскости: «Нам хочется алхимии, магии, а жизнь и природа равнодушно идут своим путем, покоряясь человеку по мере того, как он выучивается действовать их же средствами».



*Николай Сергеевич
Волконский:*

«Вместо порядка вы зальете
страну такой кровью, какой
она еще не видала...»

Николай Сергеевич Волконский родился 17 февраля 1848 г. в родовой усадьбе села Зимарово Раненбургского уезда Рязанской губернии. Его отец, князь Сергей Васильевич Волконский (1819—1884), — отставной подпоручик, видный общественный деятель эпохи Великих реформ Александра II.

В конце 1850-х гг. Волконский-старший, предводитель дворянства Раненбургского уезда, фактически возглавил, вместе с Ф. С. Офросимовым (будущим председателем рязанской уездной управы, а потом рязанским городским головой), «либеральную партию» в среде рязанских общественных деятелей, работал в губернском комитете по подготовке и проведению крестьянской реформы. После введения земских учреждений — гласный (избранный депутат) губернского собрания; а с 1865 по 1877 г. — председатель рязанской губернской земской управы, активно защищавший идею местного самоуправления против «партии крепостников» во главе с губернатором Болдыревым и губернским предводителем дворянства Реткиным. Крупнейший исследователь российского земства, будущий секретарь ЦК кадетской партии А. А. Корнилов назвал деятельность рязанских земцев Волконского и Офросимова «высокопоучительным примером» того, как «с самого открытия земских учреждений в них укоренился здоровый демократический дух, которым прониклись все передовые и наиболее влиятельные земские деятели».

По отзыву А. И. Кошелева, единомышленника и коллеги С. В. Волконского, тот был «тружеником, разумным и благонамеренным земцем», а возглавляемая им губернская управа «вела земские дела отменно хорошо». В 1877 г. князь

С. В. Волконский отказался баллотироваться на пост председателя губернской управы на очередной срок: по словам Кошелева, «он неутомимо и с великою пользою для земского дела прослужил двенадцать лет, и в последние годы особенно его утомила беспрестанная борьба с крепостниками».

Летом 1862 г. князь Сергей Васильевич, тогда еще раненбургский уездный предводитель, пригласил в Зимарово в качестве репетитора для сына студента-историка Московского университета Василия Ключевского (только что окончившего тогда первый курс), который и привил юному Николаю Волконскому, бывшему на семь лет его младше, вкус к историческим наукам. В 1872 г. Н. С. Волконский с отличием окончил историко-филологический факультет Московского университета и по настоянию отца поступил на государственную службу — в Хозяйственный департамент министерства внутренних дел. С 1875 по 1878 г. он состоял при новом рязанском губернаторе Николае Саввиче Абазе, сопровождал его, как главноуполномоченного Красного Креста, по тылам Дунайской армии во время русско-турецкой войны. Работа рядом с известным либеральным деятелем Н. С. Абазой (двоюродным братом еще более знаменитого А. А. Абазы — ближайшего сотрудника Александра II и графа М. Т. Лорис-Меликова), несомненно, сыграла свою роль в формировании общественно-политических взглядов молодого Волконского. После окончания русско-турецкой войны он поехал для продолжения образования в Европу, слушал лекции в Венском и Берлинском университетах.

С годами князь Н. С. Волконский постепенно приобрел и ценный опыт практической земской деятельности. С 1874 г. он регулярно избирался гласным раненбургского уездного и рязанского губернского земских собраний, вел дела в должности секретаря губернского собрания, руководил ревизией крестьянских касс Раненбургского уезда. Именно в земских органах самоуправления Н. С. Волконский видел наиболее эффективный механизм решения многообразных общественных проблем, в том числе одной из самых острых — «обеспечения народного продовольствия». В 1878 г. на рязанском губернском собрании отец и сын Волконские пред-

ставили записку, в которой указывалось, что «дело народного продовольствия должно быть делом земским — всеобщим, и организация продовольственной помощи должна быть возложена на приходские попечительства, обладающие на сказанную потребность правом самообложения».

Н. С. Волконский выступал за полную самостоятельность земских учреждений в распределении общественных средств. Позднее, уже сам будучи председателем рязанской губернской управы (этот пост он занимал с 1897 по 1900 г.), он обобщил свои представления о великой роли земского самоуправления следующим образом: «Ежели земские учреждения в течение двадцатипятилетнего своего существования что-нибудь сделали, то единственно благодаря самодеятельности заинтересованного в деле населения. Если земские школы всегда такие, в которых действительно учат, то это происходило единственно вследствие того, что население только на такие школы охотно дает деньги, от которых видит пользу, и его никакими отчетами не проведешь. Население не будет тратиться на то, в чем не видит пользы».

Не забывал Николай Волконский и о своем профессиональном пристрастии к исторической науке, активно сотрудничая с Рязанской ученой архивной комиссией (РУАК). По просьбе известного рязанского общественного деятеля и историка А. Д. Повалишина (когда-то тот был учеником князя Сергея Васильевича), Н. С. Волконский начал работу над материалами по истории помещичьих хозяйств Рязанской губернии. Его исследование под названием «Условия помещичьего хозяйства при крепостном праве» было опубликовано в «Трудах РУАК» за 1897 г. и, неожиданно для автора, получило широкую известность. Ряд влиятельных российских журналов («Исторический вестник», «Русское богатство» и др.) опубликовали развернутые положительные рецензии. По словам историка-краеведа С. Д. Яхонтова, эта работа «является новым, чуть не единственным трудом этого рода и очень ценится наукой». В «Отчете о русской исторической науке за 50 лет (1876—1926)» крупнейший ученый, академик Н. И. Кареев (кстати, коллега Волконского по I Государственной думе) назвал работу князя-историка в числе

самых значительных исследований по экономической истории крепостничества.

Поддерживал Н. С. Волконский и созданный при РУАК историко-этнографический музей, ставший одним из центров культурной жизни Рязани. В 1897 г. князь выкупил у своих родственников по материнской линии уникальную коллекцию произведений ручной вышивки крепостных крестьянок и подарил ее музею. В следующем году он передал в музей одну из семейных реликвий — старинную кольчугу одного из своих пращуров Волконских. (Коллекция князя Н. С. Волконского сегодня составляет значительную часть этнографического фонда Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.)

В первые годы XX в. князь Н. С. Волконский включается и в общероссийскую политическую жизнь: принимает активное участие в московских заседаниях полулегального кружка «Беседа», устанавливает близкие контакты с лидерами либерального движения Д. Н. Шиповым, братьями князьями Петром и Павлом Долгоруковыми, Н. Н. Львовым, князьями Г. Е. Львовым и Д. И. Шаховским, графом П. А. Гейденем, И. И. Петрункевичем, Н. А. Хомяковым, М. А. Стаховичем.

Одной из главных задач либерального движения на рубеже XIX—XX вв. было расширение прав земства и координация деятельности земских учреждений. Не имея возможности официально собирать свои съезды, земцы использовали любую возможность — совещание по вопросам развития кустарной промышленности (март 1902 г.), по борьбе с пожарами в деревне (март-апрель 1902 г.) и т.д. «Кустарный» и «пожарный» съезды стали прологом к созыву в Москве полулегального общеземского съезда, инициатором которого выступил глава московской губернской управы Д. Н. Шипов.

Официально съезд не был разрешен властями и прошел полулегально 23—25 мая 1902 г. на московской квартире Д. Н. Шипова. На съезд съехалось более 50 представителей большинства губернских управ и наиболее деятельные гласные. Активным участником съезда стал и князь Н. С. Волконский. Съезд единодушно констатировал, что новый правительственный курс, стремящийся подменить выборные

земские учреждения назначенными «особыми комитетами», направлен на то, чтобы отстранить органы самоуправления от принятия принципиальных решений. Вместе с тем значительная часть участников, и в их числе Н. С. Волконский, высказалась за то, чтобы земские деятели использовали все возможные средства (в том числе и через участие в назначенных правительством органах) для повышения своего авторитета.

6–9 ноября 1904 г. состоялся общеземский съезд в Петербурге. Ввиду официального запрета его заседания опять прошли в режиме «частных совещаний» на квартирах участников — И. А. Корсакова, А. Н. Брянчанинова и В. Д. Набокова. В съезде на этот раз приняло участие более 100 земских деятелей из 33 губерний; Рязанское земство представляли князь Н. С. Волконский и новый председатель губернской управы В. Ф. Эман. Особенно оживленно проходило собрание 7 ноября в огромной квартире А. Н. Брянчанинова на седьмом этаже дома № 34 по Кирочной улице.

Обсуждались разные вопросы, в первую очередь — о будущем государственном устройстве и характере народного представительства. О ходе этих дискуссий и о позиции Н. С. Волконского впоследствии рассказал в некрологе на внезапную кончину князя председатель Первой думы С. А. Муромцев («Русские ведомости» от 25 февраля 1910 г.), участвовавший тогда в заседаниях в качестве представителя Московского земства. Муромцев так вспоминал о Н. С. Волконском: «Невольно при мысли о нем воскресает внушительная картина земского съезда, заседание 7 ноября 1904 г. в зале А. Н. Брянчанинова. По случайности, зала заседания, более чем когда-либо, как бы прообразует собою залу будущей Государственной думы: на особом возвышении — председатель собрания, окруженный членами комитета; под ними — секретари собрания; лицом к председателю расположились рядовые члены собрания. И вот в части залы, слабее других освещенной, направо от председателя, встает Н. А. Карышев (делегат от земцев Екатеринославской губернии. — А.К.); рядом с ним видна фигура князя Н. С. Волконского. С необыкновенной выразительностью Н. А. Карышев настаивает на безусловной необходимости народного представительства, облеченного зако-

нодательной властью. Внимание собрания напряжено до крайних пределов. Н. А. Карышев кончил, и не каждый еще разобрался в своих мыслях; но поднимается князь Н. С. Волконский и, от имени целой группы сидящих вместе с ним, определенно заявляет, что они все едины, что Н. А. Карышев высказал общее им всем непоколебимое убеждение. Вся группа встает и подтверждает сделанное заявление. И, как это часто бывает, простое, краткое слово, сказанное от сердца, делает более, чем красивые речи. Так случилось тогда и со словом князя Н. С. Волконского. Многим почувствовалось, что свершился решающий момент заседания».

Итак, князь Н. С. Волконский оказался в числе «прогрессистов» при голосовании на ноябрьском (1904 г.) земском съезде по вопросу о компетенции будущей Думы: их более консервативные оппоненты считали целесообразным оставить за Думой лишь совещательные функции. Между тем по вопросу о формах избрания будущего народного представительства Н. С. Волконский занимал достаточно умеренную позицию. На следующем общеземском съезде, состоявшемся в Москве 22–26 апреля 1905 г., он был одним из главных оппонентов победившей в итоге идеи «прямого голосования», отстаивая необходимость всеобщего, равного, тайного, но двухстепенного голосования. По его мнению, при недостаточном уровне массовой политической культуры в России только выборщики, облеченные доверием земских собраний, способны делегировать в будущую Думу опытных законодателей, а не популистов-демагогов. Вместе с тем Н. С. Волконский активно поддержал саму идею о том, что «только немедленный созыв народных представителей с правом участия в осуществлении законодательной власти может привести к мирному и правильному разрешению насущных политических, общественных и экономических вопросов современной жизни России».

Одной из главных проблем коренного преобразования государственного устройства России земские деятели считали проведение аграрной реформы в интересах основного производительного слоя — крестьянства. И здесь позиция князя Н. С. Волконского и некоторых других умеренных

земцев разошлась с позицией становящегося все более радикальным земского большинства. Противостояние по этому вопросу двух формирующихся лагерей в российском либеральном движении ярко проявилось в ходе Аграрного совещания, прошедшего в Москве 27–29 апреля 1905 г., сразу после общеземского съезда.

На этом совещании в докладах И. И. Петрункевича, А. А. Мануйлова, М. Я. Герценштейна начала кристаллизоваться позиция, легшая затем в основу аграрной программы Конституционно-демократической партии: крестьянские наделы должны быть увеличены за счет государственного выкупа (за адекватное вознаграждение) излишков собственности и передачу их крестьянам в аренду. Тогда же в рядах умеренных земцев и возникла оппозиция, активно проявившая себя впоследствии в стенах I Думы. Одним из лидеров этой «правой оппозиции» и стал князь Н. С. Волконский.

В своем выступлении на совещании он отметил, что за, казалось бы, большим разбросом мнений проступают, по существу, две основные позиции: *за* и *против* частной собственности на землю. Аграрный проект «земского большинства» по своей сути совсем недалек от идеи национализации, ибо оставляет в конечном счете за государством (и, как следствие, — за чиновничеством) право собственности на землю. По мнению Волконского, крестьянство желает не просто «прирезки земли» на правах аренды, а полноценной собственности. Ссылаясь на свое знание положения на родной Рязанщине, Волконский заявил, что местный крестьянин-земледелец «жаждет получить землю в полную частную собственность. По крайней мере, у нас, на черноземе, получить кусок земли в полную частную собственность, столь же хорошо защищенную законом, как и собственность любого другого владельца, составляет венец желаний всякого крестьянина. И уже некоторые крестьяне стали осуществлять это желание, приобретая землю при помощи Крестьянского банка и без такой помощи. Но лица, предлагающие добавочное наделение землею, эти прирезки к надельной земле, считаются ли с таким желанием? Нет. Напротив, если проводить предлагаемое наделение последовательно, пришлось бы отбирать землю и у таких мелких

собственников для наделения ею неимущих. Но эти-то уж добровольно не отдадут ее. Идя этим путем, надо готовиться к междоусобной войне. И если такой войне суждено разгореться, то победителем, думается мне, выйдет из нее тот, кто обещает частную собственность на землю».

Итак, вместо экспроприаторской (согласно убеждениям Волконского — «полусоциалистической») программы «отчуждения земельных излишков», чреватой новым перераспределительным диктатом бюрократии и социальной нестабильностью, Волконский предложил ограничиться чисто рыночными мерами — расширением деятельности преобразованного с участием земств Крестьянского банка, введения нового поземельного налога на крупную собственность и т.д. По его мнению, «налог выбросил бы на рынок наиболее слабые в хозяйственном отношении земли и указал бы, что подлежит отчуждению; внимательное изучение особенностей каждого отдельного случая местными общественными учреждениями даст путь, как достигнуть остального».

Впрочем, по мнению Волконского (известного тем, что он никогда не объявлял свою точку зрения единственно верной), вопрос о степени укорененности и популярности идеи частной собственности в России остается открытым: «Если я ошибаюсь, если желание земледельческого населения не заключается в стремлении к частной собственности, — кто так думает, тому надо последовательно идти к национализации земли, но разрешится этот процесс междоусобной войной». Слова князя Волконского оказались пророческими: в конечном итоге Россия оказалась разделенной на два лагеря — защитников и ненавистников частной собственности, и кто победил в этой войне — известно.

Поражение России в русско-японской войне вызвало волну общественно-политических выступлений. 24 мая 1905 г. в Москве, в особняке Ю. А. Новосильцева на Большой Никитской, собрался т.н. коалиционный съезд земских деятелей, в котором приняло участие около 300 человек. Председатель съезда граф П. А. Гейден, ближайший единомышленник Н. С. Волконского, во вступительном слове выразил общее настроение: «Истребление русского флота поразило

всю Россию; люди всевозможных политических фракций пришли к заключению, что продолжение существующего порядка более невыносимо и что правительство, виновное перед народом, долее существовать не может». Участники съезда высказали общее недовольство усилением репрессивного курса в стране (буквально накануне полицейский генерал Д. Ф. Трепов получил от императора фактически диктаторские «особые полномочия») и высказались в пользу безотлагательного созыва народного представительства. Несмотря на многие разногласия «партий», по сути уже сложившихся в русском освободительном движении, съезду удалось согласовать адрес на Высочайшее имя, в котором выражалась обеспокоенность ситуацией в стране, содержались критика правительственного курса (особенно его «полицейской» составляющей) и призыв к скорейшему созыву народных представителей как единственному способу успокоения страны. Адрес был, разумеется, компромиссом многих разных настроений (по словам одного из участников — «бледной равнодействующей всех желаний»). Радикалы нисколько не верили в его действенность, считали его лишь «исполнением долга», «успокоением собственной совести» и т.д. Похоже, однако, что такие умеренные земцы, как князь Н. С. Волконский (а также близкие к нему Д. Н. Шипов, М. В. Родзянко и др.), напротив, все еще рассчитывали «достучаться до императора» и поэтому настояли на внесении в итоговый текст ряда поправок, призванных смягчить общую оппозиционную тональность.

И во второй день съезда, при обсуждении вопроса о выборе депутации для вручения царю утвержденного «адреса» (это заседание прошло в особняке В. А. Морозовой), Н. С. Волконский, Д. Н. Шипов и другие «умеренные» сделали все, чтобы обеспечить демонстративную лояльность Государю. В противовес «радикалам», настаивавшим на максимально широком составе (Н. Н. Ковалевский, например, предложил избрать в депутацию по два человека от губернии и по одному от города — иначе: «Кто с ней станет считаться?.. Пусть нас хоть нагайками разгонят — я не боюсь нагаек!»), Д. Н. Шипов заявил, напротив, следующее: «Спасти Россию может только единение власти с народом. Депутация должна быть составлена так,

чтобы Государь мог ее принять... В депутацию нужно выбрать от 3-х до 5-ти лиц...». С аналогичных позиций выступил и Н. С. Волконский: «Если я принимаю участие в этом совещании, то потому, что желаю подать адрес Государю. Поэтому я здесь могу иметь в виду только мою совесть и Государя. Предлагаю выбрать трех депутатов...».

В итоге была избрана депутация из 12 человек; вместе с присоединившимися к ней тремя представителями Петербургской городской думы, а также профессором Московского университета князем С. Н. Трубецким она была принята императором в Петергофе 6 июня 1905 г. По общему мнению, эта встреча, хотя и прошла внешне вполне благожелательно, никаких практических последствий не имела. И двор, и либеральная общественность взяли паузу, изговлеваясь к дальнейшему противостоянию.

А пока в либеральной среде шло дальнейшее размежевание на «радикалов» (во главе с И. И. Петрункевичем, П. Н. Милюковым, Ф. И. Родичевым), составивших затем костяк Конституционно-демократической партии, и «умеренных», шедших за Д. Н. Шиповым, П. А. Гейденом, М. А. Стаховичем, Н. А. Хомяковым. В этом противостоянии Н. С. Волконский становится одним из лидеров «умеренных»: он, земец-практик, специалист по аграрным и финансовым вопросам, считал главной российской проблемой дезорганизацию хозяйства и основную опасность видел в нарастающем революционном движении, способном сорвать обещанную царем конституционную реформу. Вместе с тем он понимал, что к социальной дезорганизации ведет не только смута «снизу», но и полицейско-бюрократический курс правительства, некомпетентного и игнорирующего народные нужды. Выход из этого порочного круга Н. С. Волконский и его единомышленники видели в целенаправленных «реформах сверху», воссоздающих в новых условиях то единение власти и общества, которое было характерно для эпохи Великих реформ Александра II. Возможность этого умеренные либералы увидели в дарованном Николаем II Манифесте 17 октября 1905 г.

Сторонник конституционной монархии Н. С. Волконский в ноябре 1905 г. стал одним из основателей либерально-

консервативной партии «Союз 17 октября». Он регулярно участвовал в заседаниях петербургского ЦК партии (заседавшего иногда по два-три раза в неделю), затем вошел в московское отделение Центрального комитета, одновременно возглавил рязанский губернский отдел партии. В те месяцы октябристы видели главную задачу в подавлении революционной смуты, причем не только военно-полицейскими, но и — главным образом — общественными силами. Они опасались, что курс премьера С. Ю. Витте, которому они тоже не вполне доверяли, может смениться гораздо более репрессивным режимом министра внутренних дел П. Н. Дурново. Подобную «центристскую» тактику, опирающуюся на идею реализации императорского Манифеста и перспективу скорейшего созыва Думы, князь Н. С. Волконский попытался реализовать и в своей Рязанской губернии. В декабре 1905 г. на губернском земском собрании он представил докладную записку, в которой предлагал образовать в каждом уезде на земские средства вооруженные дружины для охраны и защиты помещичьих имений. Большинство голосов его предложение было отвергнуто, хотя и нашло значительное число сторонников. В этом эпизоде ярко проявилась политическая доминанта того времени: общество все более поляризовалось на «охранителей», согласных на любые реакционные действия, — и «революционеров», стремящихся к радикальным изменениям. Центристские силы, представленные в том числе и октябристами с их идеей «борьбы общества против революции», в этом противостоянии явно теряли инициативу.

В этих условиях Н. С. Волконский и его коллеги придавали большое значение скорейшим выборам в I Государственную думу, рассчитывая на союз популярных умеренных земцев-практиков и «здравомыслящего», как им казалось, «крепкого крестьянства». Выступая на соединенном совещании санкт-петербургского и московского отделений ЦК «Союза 17 октября», созванном 8–9 января 1906 г. в преддверии общепартийного съезда, Н. С. Волконский объявил о необходимости «возможно скорее приступить к выборам в Думу, особенно от крестьян». «Правительство делает большую ошибку, испытывая так долго терпение населения, — гово-

рил Волконский. — Если в начале апреля Дума не будет созвана, волнения снова могут усилиться. Многочисленные аресты людей, иногда ни в чем не виновных, вызывают недовольство населения».

Чем раньше пройдут выборы в Думу, тем больше шансов у умеренных партий, полагал Н. С. Волконский — и был глубоко прав: задержка с созывом народного представительства с каждым днем усиливала позиции радикалов. Отмечая, что «деревню мало волнуют газетные известия о политических беседах графа Витте и весь интерес сосредотачивается на вопросе земельном», Волконский призвал лидеров октябристов обратить особое внимание на земельный вопрос, по которому партии «нужно сказать больше, чем было высказано до сих пор». «Необходимо самим себе выяснить всю трудность и сложность вопросов и разъяснить это крестьянам. Желательно, чтобы местными отделами «Союза» были доставлены съезду точные сведения и фактический материал, освещающие положение вопроса в той или другой местности», — подчеркивал Волконский. Он полагал, что победить в избирательной кампании левую демагогию по крестьянскому вопросу можно только опираясь на очень точное и конкретное знание предмета.

Выборная кампания октябристов в Рязанской губернии проходила в обстановке острого соперничества с кандидатами от более радикальной Конституционно-демократической партии, взявшими на вооружение идеи принудительного отчуждения помещичьих земель и скорейшего созыва Учредительного собрания, с которыми князь Волконский и его единомышленники полемизировали еще на первых земских съездах. Имея явное преимущество над кадетами на съездах крупных землевладельцев, октябристы существенно уступали им в городских избирательных собраниях. Позиция крестьян, за которыми, согласно новому законодательству, закреплялась существенная квота выборщиков, была неустойчива. Опасаясь возможности забаллотировки выборщиками от крестьян всех иных кандидатов (в том числе и октябристов), Н. С. Волконский одно время вел переговоры о коалиции в губернском избирательном собрании с рязанскими кадетами. Однако их лидер А. К. Дворжак от альянса с октябри-

стами уклонился: общим кадетским принципом на выборах в I Думу было «блокирование налево», с радикальными крестьянскими элементами, с целью победы над «сторонниками режима», к которым кадеты теперь относили и октябристов.

Тактика конституционных демократов, как известно, в целом по России принесла успех: блок кадетов и более левых «трудовиков» определил лицо I Думы. Большинство октябристских кандидатов (даже таких ярких и заслуженных, как Д. Н. Шипов, А. И. Гучков, М. В. Родзянко) потерпели поражение. Однако были и отдельные исключения: в Пскове, Орле, Саратове в Думу сумели пройти некоторые лидеры умеренных земцев — граф П. А. Гейден, М. А. Стахович, Н. Н. Львов. Исключением стала и Рязанщина: на губернском избирательном собрании октябристам, возглавляемым Н. С. Волконским, удалось не только получить голоса правых и умеренных выборщиков, но и привлечь на свою сторону выборщиков-крестьян. В результате в Рязанской губернии октябристы сумели провести в Думу трех кандидатов из восьми возможных: депутатами стали сам князь Волконский и его коллеги по партии А. В. Еропкин и Н. И. Ярцев.

И современниками, и позднейшими исследователями был многократно отмечен парадоксальный факт: в I Думе, в отличие от последующих, по существу не было откровенных реакционеров; на «правых скамьях» здесь оказались такие заслуженные земцы-конституционалисты, как граф Гейден, орловский губернский предводитель Стахович, князь Волконский. Кадетско-трудовическое большинство I Думы считало парламентскую активность этих депутатов лишь досадной помехой в победном, как тогда казалось, наступлении народных представителей на ретроградную власть. Но существует и иная оценка: один из кадетских лидеров, депутат II–IV Дум В. А. Маклаков, правда уже в эмиграции, пришел к нестандартному выводу о том, что именно Гейден, Стахович и Волконский пытались защитить в I Думе *подлинно либеральную и конституционалистскую позицию*.

Конечно, в этом смысле граф П. А. Гейден и М. А. Стахович были в I Думе наиболее яркие и активны, но и нередкие выступления их единомышленника князя Н. С. Волконско-

го (получившего за свою неприязнь к явным и скрытым социалистам прозвище «сердитый князь») также сыграли свою роль и по праву должны войти в историю русского конституционализма.

Уже на одном из первых заседаний, 2 мая 1906 г., когда обсуждался вопрос о необходимости потребовать от властей немедленной и полной амнистии и некоторые «левые» аргументировали срочность этого вопроса тем, что царь, мол, может опередить думцев, слово для короткой реплики попросил Н. С. Волконский: «Тут было сделано еще одно заявление: а ну-ка Государь даст амнистию без нас... Да сделайте милость! Надо будет благодарить за это судьбу, и если это будет сделано сейчас, не по нашему собственному почину, а будет сделано правительством, то, мне кажется, кроме благодарности, ничего за это сказать нельзя. Остается только порадоваться...». Однако эта вполне разумная реплика «сердитого князя» нимало не изменила позицию нетерпеливых радикалов.

Главное выступление князя Н. С. Волконского в I Думе состоялось 18 мая 1906 г. и было посвящено аграрному вопросу — собственно, это был принципиальный содоклад от немногочисленной группы «умеренных», продолжающих активно оппонировать проектам передачи в аренду крестьянам экспроприированной земельной собственности как якобы единственному способу социального умиротворения в стране.

В самом начале своей развернутой речи Н. С. Волконский согласился с тем, что значительное большинство крестьянства видит в недостатке земли главный источник своих бедствий. «Ставя себя в положение нашего крестьянина, — добавил Волконский, — я уверен, что я думал бы то же самое, что и он, и приписывал бы недостатку земли все мои бедствия». Но в том-то и дело, заметил он далее, что народные избранники, собравшиеся в зале Думы, должны смотреть на проблему глубже, осмыслить ее рационально и найти верное решение, а не просто идти за массовым нетерпением.

Волконский обратил внимание на одно интересное обстоятельство, которое исследовал очень внимательно и как земец-практик, и как профессиональный историк: массовые крестья-

янские выступления, грабежи и поджоги имели место вовсе не там, где малоземелье было особенно чувствительно. Так, например, одним из очагов крестьянских бунтов стал Балаковский уезд Саратовской губернии (родной уезд друга и единомышленника Волконского — депутата Н. Н. Львова), где крестьяне имели в два раза больше земли, чем в родном для Волконского Раненбургском уезде Рязанской губернии, где, напротив, ситуация в целом осталась спокойной. Вывод Волконского должен был неприятно задеть «левую» часть Думы: «Эти грабежи были вызваны особой агитацией, этой страстью к земле воспользовались люди, для того чтобы поднять одну часть населения против другой. Поэтому движение было особенно сильно не там, где всего сильнее нужда в земле, а там, где были налицо такие люди, которые могли поднять население».

Поэтому, по мнению Волконского, справедливый призыв изыскать возможности увеличить крестьянские наделы не должен стать предметом беспочвенной демагогии: во многих районах существенно «прирезать землю» просто невозможно. Так, согласно профессиональным расчетам Волконского, даже если взять все пахотные земли Рязанской или Тамбовской губерний, включая земли помещичьи и церковные, и разделить их ровно между всеми земледельцами («всех крестьян взять и рассадить, как картофель, по всей губернии»), то прибавка к крестьянскому хозяйству будет мизерной — не более одной десятины на каждую душу мужского пола.

Вызовом большинству прозвучал и другой тезис Волконского: «У наших земледельцев все-таки больше земли, чем у земледельцев любой другой страны Европы; там от этого недостатка не страдают, не страдают потому, что там земля приносит больше». Поэтому важной национальной задачей, по мнению Волконского, должна стать не только проблема малоземелья, но и проблема повышения производительности земли. А учитывая, что помещичьи хозяйства пока раза в два продуктивнее крестьянских, их разорение приведет к деградации национальной экономики: «Нельзя разрушать те хозяйства, которые много приносят, и создавать такие, которые мало приносят».

Какие же меры предложил Думе сам Н. С. Волконский? Его предложения основывались на двух принципах: учете

конкретной местной специфики и необходимости передачи земли в частную собственность, а не в аренду. «Дайте крестьянину в собственность десятины 10 пустыря, — говорил Волконский, — и через 10 лет он из них сделает 10 десятин огорода, а сдайте ему в аренду эту землю, поставьте еще чиновника, который бы смотрел за тем, кто будет обрабатывать эту землю, сам ли хозяин или, может быть, не батрак ли, то из 10 десятин огорода получите 10 десятин пустыря». Поэтому в тех районах, где есть возможность «прирезать землю» крестьянам, это следует сделать, используя все инструменты государства: «Прирезать придется, конечно, на счет государства, и взять эту землю тут же, возле, если добром можно, то добром, а если не добром, то и принудительно... И отпуская с приданным, сказать: “Ступайте, работайте на своей земле, отвечайте во всем сами за себя: хорошее будет хозяйство — твое дело, плохое хозяйство — на себя пеняй!”». В тех же местах, где существенно добавить земли невозможно, необходима планомерная работа по переселению крестьян на свободные земли, которые также должны быть им переданы в полную частную собственность.

Еще одним способом расширения крестьянских наделов могла бы стать продажа помещиками их земель. Собственно, этот процесс уже активно шел: по подсчетам Волконского, после реформы 1861 г. в Рязанской губернии в руках старых владельцев осталась примерно половина земель, и половину из проданного купили именно крестьяне. «Если такая масса земель уже теперь переходит к крестьянам, — заметил Волконский, — то при большей поддержке государства перейдет еще больше». Он рассказал далее, что у себя в волости он уже произвел некоторые подсчеты: «Мне, например, из 1200 десятин придется уступить 500. Придется купить у священника немножко, и он согласен продать, и т.д. — устроиться можно...». Согласно предложению Волконского, землевладельцев, имеющих менее 300 десятин, следует вообще оставить в покое, а более крупные собственники вполне могут уступить примерно треть своих земель. При этом земельные излишки можно не только продавать, но и обменивать: «Отчего казне не прибегнуть вместо отчу-

ждения покупкой — к обмену? У государства есть много мест и земель, которые в переселенческом деле для крестьян не годятся, потому что требуют больших затрат капитала, например лесные пространства, горные; между тем человеку с капиталом они очень пригодятся, и если бы помещику предоставлено было право в некоторых случаях меняться, то на земли, может быть, иногда не крестьяне переселялись бы, а помещики. Я бы первый, пожалуй, отдал свои 1200 десятин в Тамбовской губернии и выселился бы. А она бы очень пригодилась».

Важным элементом крестьянской реформы могла бы стать и ликвидация наиболее архаических форм общинного землевладения, тормозящих развитие национального хозяйства. «Если крестьяне какого-нибудь общества пожелают продолжать владение землей сообща, — предложил Волконский, — пусть составят договор о том, и пользование этой землей будет уже определяться из этого договора. Без договора, как теперь, по обычаю, общинное землевладение не должно быть более допустимо».

Общий стиль этого выступления Н. С. Волконского напминал речь мудрого сельского старосты и захватил внимание многих депутатов, почувствовавших в ораторе прекрасное знание предмета. Но, судя по стенограмме, было немало и таких, кто старался перебить и остановить оратора криками «довольно, довольно». Концовку своего выступления Волконский явно сократил. Но расстроен он, судя по всему, не был. Во-первых, главное он успел сказать, заронив многие сомнения в головах думского большинства, и в первую очередь здравомыслящих крестьян. А во-вторых, он знал, что в зале у него есть сильный союзник, который уже записался в очередь на выступление по аграрному вопросу.

На следующий день, 19 мая, Н. С. Волконского активно поддержал саратовский депутат, бывший кадет Н. Н. Львов. После необходимых слов о том, что он, конечно, признает необходимость увеличения площади крестьянского землевладения и для достижения этой цели допускает отчуждение частновладельческой земли, Львов, один из самых блестящих ораторов первых российских парламентов, перешел в

наступление на предложенный от имени думского большинства проект аграрной реформы.

«Я самым решительным образом расхожусь с началами предлагаемой нам схемы аграрной реформы, — заявил Н. Н. Львов. — Я отвергаю ее, так как она направлена, по моему убеждению, не на поднятие благосостояния населения, а на осуществление абстрактной теории, не только не на пользу, а во вред крестьянству и общему благу страны». Львов так же, как когда-то на земском совещании это сделал Н. С. Волконский, назвал главной идеей кадетского проекта фактическую национализацию земли: «Правда, само слово не названо, но сущность ее проведена с известной последовательностью».

Концовка речи Н. Н. Львова была чрезвычайно сильной: «Для того чтобы такой закон провести в жизнь, нужна страшная власть. В Петербурге вы должны создать огромную земельную канцелярию, которая измеряла бы, распределяла, переселяла из одного конца России в другой, изрезывала бы всю Россию на продовольственные квадраты. В каждом уголке для такой коренной ломки всего хозяйственного быта вы должны держать целый штат чиновников.... Для таких задач, для такой ломки жизни вам нужна не Государственная дума, а диктатура, власть деспотическая! Бойтесь деспотизма, вашего собственного деспотизма, бойтесь самого худшего из них — деспотизма голых формул и отвлеченных построений!». Аплодисментов по окончании речи Н. Н. Львова в стенографическом отчете не отмечено — слушатели, судя по всему, были потрясены.

Итак, влияние князя Н. С. Волконского на эволюцию идей Н. Н. Львова несомненно. Их близкие по духу и аргументации выступления в Думе еще более сплотили их, хорошо знакомых со времен кружка «Беседа» и первых земских съездов. Теперь, в последние недели работы Первой думы, Волконский вместе с Львовым (а также гр. П. А. Гейденом и М. А. Стаховичем) активно обсуждали планы создания самостоятельной партии, свободной как от левых предрассудков кадетизма, так и от проправительственных обязательств октябризма.

Свою принципиальную позицию по вопросу об аграрной реформе Н. С. Волконский еще раз подтвердил и на думском

заседании 5 июня 1906 г., когда подводились итоги общей дискуссии: «По моему мнению, во-первых, крестьяне должны получить землю в собственность, а не аренду... Я не задаюсь теориями. По-моему, этот вопрос гораздо легче решить на местах, чем приступать к общей формуле (*редкие аплодисменты*)».

А на следующий день, 6 июня, при обсуждении проекта закона о гражданском равенстве, князь Волконский еще раз предельно точно определил свое кредо политика и депутата, сделав акцент на необходимости здравомыслия и практичности в законодательной работе: «Я никогда законодателем не был, и дальше скромной деятельности в земских собраниях в этом отношении не шел, но и там, всякий раз, когда предлагались какие-нибудь меры, я находил, что надобно прежде всего сознательно отнестись к ней и не только оценить ее с точки зрения принципа, но и взглянуть на всю совокупность тех факторов, которые вызывают применение этого принципа на деле. Если мы желаем отменить какое-нибудь зло, нам надо, чтобы это зло представилось нам фактом, каким оно существует на деле».

Между тем недолгое существование I Думы подходило к концу. 19 июня 1906 г. левое большинство устроило obstructionism главному военному прокурору, генерал-лейтенанту В. П. Павлову. Собственно, волнение в зале началось еще во время выступления министра юстиции И. Г. Щегловитова; шум еще более усилился, когда от имени морского министра выступал военно-морской прокурор Н. Г. Матвеев. А когда председатель Думы С. А. Муромцев начал было объявлять, что от имени военного министра выступит Павлов, и тот направился к трибуне, свист и топот депутатов вообще не дали оратору возможности говорить. Муромцев хладнокровно (и, как представляется, с полным пониманием настроений депутатов) прервал заседание на один час. После перерыва сравнительно гладко прошло выступление еще одного представителя правительства — заместителя Столыпина по министерству внутренних дел А. А. Макарова... А потом депутаты радикальных фракций стали наперегонки записываться для выступлений «по порядку ведения». Obstructionism «кровавому палачу Павлову» постарались ярко обосновать и

лидеры «трудовиков» С. В. Аникин и А. Ф. Аладьин, и видный социал-демократ И. И. Рамишвили, и кадет М. М. Винавер. Единственными, кто попытался призвать депутатов к корректности по отношению к представителям правительства, были граф П. А. Гейден и князь Волконский.

Гейден выступил, как всегда, очень спокойно: «Я думаю, что главная беда нашего прежнего порядка есть превращение личной воли в закон... Я придерживаюсь того правила, что новый порядок надо вводить новыми приемами — глубоким уважением к закону и даже к личности своего врага». Гораздо более возбужденным выглядел Н. С. Волконский: «Господа, если тот минимум требований, который должен удовлетворить всякого говорящего на этой кафедре, будет зависеть от усмотрения лиц, сидящих там (*указывает на левую сторону*), или каких бы то ни было групп, или даже всей Думы, а не закона, то Дума будет неработоспособна; нынче вы сгоните одного, а завтра другого, и работа станет невозможной, и вместо порядка, для которого мы созданы, вы зальете страну такой кровью, какой она еще не видала (*шум*). Я глубоко протестую против этого (*шум*)».

Последнее выступление князя Волконского в I Думе состоялось 4 июля, совсем незадолго до роспуска. Предчувствуя, по-видимому, что прямое обращение депутатов к населению по аграрному вопросу (к чему склонялось думское большинство) может дать властям удобный повод для роспуска народного представительства, он просил не разжигать страсти, воздержаться от деклараций и найти иные способы информировать граждан о позиции депутатов... Собственно, все так и случилось, как и предупреждал Волконский: 9 июля 1906 г. Дума была распущена.

Между тем умеренная позиция депутата-князя Волконского в I Думе вызвала серьезное недовольство многих его рязанских избирателей, значительно полевевших за эти месяцы. Так, жители села Новики Спасского уезда прислали в Думу свой «крестьянский приговор», в котором писали: «Постановили выразить князю Волконскому наше негодование за то, что он не стоит за народ. Мы еще больше будем презирать его, если увидим, что он не войдет в трудовую

группу». В другом «приговоре» — крестьянского схода Кузьминской волости Рязанского уезда — говорилось: «Князь Волконский в Думе интересы крестьян не отстаивает, трудовому крестьянству в его нужде не сочувствует... Поэтому и мы его взглядам и направлению тоже не сочувствуем».

Надо добавить также, что во времена I Думы и сразу после ее роспуска сам князь Волконский и другие рязанские думцы-октябристы старались удержаться на либеральном фланге собственной партии, в то время как внедумское большинство ЦК склонялось к сотрудничеству с правительством. Поэтому рязанские либералы во главе с Волконским (наверняка прислушивающимся к голосу своих полелевших избирателей) поначалу поддержали идею лидеров думских «умеренных» графа П. А. Гейдена и М. А. Стаховича, а также отошедшего от кадетов Н. Н. Львова создать новую, либерально-центристскую «Партию мирного обновления». На заседании ЦК «Союза 17 октября» 29 июня 1906 г. Н. С. Волконский мотивировал необходимость создания новой партии прагматическими соображениями: «Принадлежащие к Союзу крестьяне — члены Думы понемногу отпадают от него... Крестьяне все более убеждаются, как важно и выгодно идти заодно с сильной партией. Иметь дело с «Союзом 17 октября» они стесняются, в его помещение ходить боятся, его представителей сторонятся. Партия мирного обновления возникла в большой мере, чтобы дать возможность сгруппироваться вокруг нового имени, которого не будут стесняться».

Вскоре, однако, под воздействием быстро меняющейся политической обстановки, Н. С. Волконский возвратился в лоно классического октябризма. Скорее всего, набирающий силу в партии энергичный А. И. Гучков (во многом близкий князю: тоже выпускник истфака Московского университета, тоже учился в Берлине и Вене), а также такие умеренные октябристы, как Н. А. Хомяков, С. И. Шидловский, В. М. Петрово-Соловово, были ему все-таки ближе. Большое значение имело и то, что новым главой российского правительства стал П. А. Столыпин, в значительной степени разделявший общественные воззрения Волконского.

В конце 1906 г. рязанские октябристы активно включились в избирательную кампанию по выборам во II Думу. 30 декабря на собрании рязанского отдела партии было избрано, по предложению Н. С. Волконского, особое «выборное бюро» из 10 человек, которому поручалось руководство предстоящей кампанией. По сравнению с более левыми партиями, октябристы имели заметное преимущество — полную свободу предвыборной агитации. Однако выборы для партии в Рязанской губернии закончились полным поражением: ни один из ее кандидатов в новую Думу не попал. Победил объединенный блок кадетов и «левых»: наиболее уязвимым местом октябристов стала как раз их умеренная позиция по аграрному вопросу в Первой думе.

Что касается III Государственной думы (для избрания в нее Волконский сложил с себя полномочия выборного члена Государственного совета от Рязанского земства), то в ее стенографических отчетах фамилия князя Н. С. Волконского встречается многократно. Кстати, учитывая, что в эту Думу были избраны и другие Волконские (в том числе младший брат Николая, князь Сергей Сергеевич Волконский, выпускник юридического факультета Петербургского университета, видный общественный деятель Пензенской губернии), князь Николай Сергеевич получил «по старшинству» думское имя «Волконский 1-й».

По сравнению с I Думой, положение Н. С. Волконского в III Думе изменилось кардинальным образом. На основании нового избирательного закона, давшего преимущество на выборах «цензовым элементам», соратники князя по партии октябристов получили в новой Думе преобладающие позиции, а председателем был избран старинный друг — общественный деятель из Смоленской губернии Н. А. Хомяков.

Наиболее серьезной темой, по которой «князь Волконский 1-й» выступал в III Думе, стали теперь проблемы народного образования. В январе 1910 г. в Думе произошла острая схватка между ультраправыми депутатами, поддерживавшими охранительный курс министерства просвещения, и реформаторами, которых в Думе возглавили октябристы — профессор В. К. фон Анреп (председатель профильной думской ко-

миссии) и князь Н. С. Волконский. Дело в том, что правительство, проведя ранее ряд мер по ужесточению правил университетского образования, не торопилось возвращать университетам отобранные права, затягивая внесение в Думу нового университетского Устава. Умеренно-либеральное октябристское большинство (которое в данном случае из тактических соображений поддержали кадеты и левые) настаивало на разработке и принятии хотя бы «временных правил», обеспечивающих расширение прав университетской молодежи. В ходе острой дискуссии князь Н. С. Волконский активно выступил за необходимость скорейшего введения «временных правил», защищая тезис, что «этого требуют интересы общества». Однако разумное и весьма взвешенное выступление князя буквально взорвало думских ультраправых.

Первым выскочил на трибуну их лидер, курский депутат Н. Е. Марков (Марков 2-й), который с жаром произнес: «Я взшел на эту трибуну, чтобы возразить князю Волконскому 1-му. Он тут заявил, что то законодательное предположение, которое левые объявляют с большой смелостью своим сочинением, должно быть принято только потому, что оно будет якобы отвечать запросам общества. Я заявляю князю Волконскому, что требованию того общества, которому он желает подчиниться и по требованию которого он желает плясать, мы не будем подчиняться. Мы признаем волю народа, а воля народа выше воли вашего жидовского общества. (*Рукоплекскания справа и голоса: bravo!*)».

Вослед за Марковым выступил другой черносотенец, член Главного совета «Союза русского народа» Ф. Ф. Тимошкин и тоже грубо возразил Волконскому относительно «потребностей общества»: «Народная потребность, господа, потребность русского народа заключается в том, что наши высшие учебные заведения переполнены иудеями и инородцами, а русским туда доступа нет. (*Рукоплекскания справа и голоса: верно! bravo! долой жидов с Миллюковым вместе!*)»... Впрочем, лидеры октябристского большинства, поначалу, по-видимому, несколько растерявшиеся, достаточно быстро овладели положением, и Дума подавляющим числом голосов постановила желательной выработку «временных правил».

В политической биографии князя Н. С. Волконского, истинного центриста, неоднократно бывали ситуации, когда в один день его яркое думское выступление вызывало аплодисменты «слева» и свист «справа», а на следующий день происходило ровно наоборот. Так и случилось, например, в январские дни 1910 г. Сперва левые депутаты (трудовики, социал-демократы) активно поддержали «демократизм» князя в отношении университетской реформы. А буквально через несколько дней, при обсуждении вопроса о необходимости имущественного ценза для местных судей, те же самые «левые» устроили Волконскому обструкцию.

Князь Н. С. Волконский всегда был сторонником имущественного ценза для занятия всех выборных должностей. По его мнению, только наличие собственности способно сформировать надежное гражданское мировоззрение, позволяющее ответственно отправлять общественные функции. Эта позиция, будучи открыто высказанной Н. С. Волконским на заседании Думы 22 января 1910 г., вызвала бурное недовольство на скамьях левых депутатов.

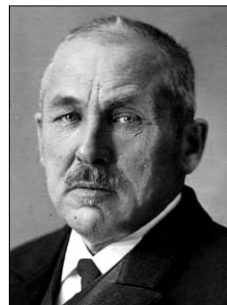
Однако в III Думе Н. С. Волконский запомнился и эпизодами, когда одна его меткая реплика разряжала межпартийную конфронтацию. Так произошло, например, в ходе заседания 3 июня 1908 г., когда депутаты утверждали устав Московского народного университета им. А. Л. Шанявского. Ультраправый Марков 2-й предложил поправку, согласно которой в Совет попечителей университета не могли избираться лица, ранее осужденные. За поправку выступил и другой лидер правых — Г. Г. Замысловский. Все прекрасно понимали, что речь, в первую очередь, идет об общественных деятелях, ранее осужденных за подписание «Выборгского воззвания», и даже еще более конкретно — о бывшем председателе I Думы С. А. Муромцеве. Ситуация перед голосованием поправки была не вполне определенная: доминирующие в Думе октябристы не хотели подыгрывать правым, но и не находили достаточно аргументов, чтобы отклонить поправку. В конце дискуссии слово взял Н. С. Волконский: «Господа, существует русская поговорка: от суммы, да от тюрьмы не зарекайся (*рукоплекскания в центре и слева*). Муд-

рая поговорка, сколько почтенных людей попадало в тюрьму! Закон покарает, кого ему нужно; что же касается оценки сверх закона, — предоставим это тем, кто будет выбирать попечителей, или они глупее нас, что ли? А в такой степени злобствовать, чтобы преследовать постановлением Думы, — стыдно! (*Шумные рукоплескания слева и в центре.*)». В итоге поправка Маркова-Замысловского была отклонена подавляющим большинством голосов...

В феврале 1910 г. Н. С. Волконский выступал в Думе особенно активно. Его всегда уместные и точные реплики зафиксированы в стенографических отчетах за 3, 12, 18 февраля. 20 февраля он записался с большим выступлением в дискуссии по смете отлично ему знакомого министерства внутренних дел, но решил отказаться, чтобы не затягивать прения. Вечером он участвовал в работе Комиссии по местному самоуправлению, а на следующий день уехал в Москву.

22 февраля 1910 г. действительный статский советник, князь Н. С. Волконский скоропостижно скончался в своей московской квартире в Гранатном переулке в возрасте 62 лет. На следующее утро председательствующий на пленарном заседании Думы (по иронии судьбы это был однофамилец — князь В. М. Волконский) объявил о кончине заслуженного депутата. Коллеги почтили память Николая Сергеевича вставанием, а в 4 часа пополудни в церкви Таврического дворца была отслужена панихида.

Князь Николай Сергеевич Волконский был похоронен в родовом склепе при Храме Боголюбской Божьей Матери в селе Зимарово Раненбургского уезда Рязанской губернии. В советский период склеп был разрушен, могила не сохранилась. Некоторое время назад на ее месте был установлен поминальный крест.



Николай Алексеевич Хомяков:

«Так бы и не уезжал
из деревни, если бы не эта
политика...»

Судьба человека (судьба — в широком смысле) складывается из двух главных составляющих — взаимопереплетающихся, но всегда различных. Судьба — это, с одной стороны, родовое и семейное наследие — то, что от человека почти никак не зависит. Но, с другой стороны, судьба — это личные поступки и деяния, порожденные свободной волей человека. Каждая личность всегда пребывает в истории и как ее наследник, и как ее творец, и нелегко сказать, что оказывается труднее: соответствовать традиции или преодолеть ее. В любом случае, «звездные часы» в человеческой жизни редки и мимолетны — но именно они определяют в конце концов масштаб и значение личности.

Биографические справочники скупы на информацию о Николае Алексеевиче Хомякове. Родился в 1850 г. в семье известного философа и литератора Алексея Степановича Хомякова. Окончил курс двух факультетов Московского университета — физико-математического и юридического. В 1877 г. избран почетным мировым судьей Сычевского уезда Смоленской губернии, где унаследовал родовое имение Липицы. Пошел добровольцем на турецкую войну; был на перевязочном пункте при Кавказской армии в день штурма Карса. В 1880 г. избран сычевским уездным предводителем дворянства. Потом, в течение девяти лет — смоленский губернский предводитель дворянства (избирался на этот пост на три трехлетия — в 1886, 1889 и 1892 г.). С 1896 по 1902 г. — директор Департамента земледелия министерства земледелия и государственных имуществ. Был женат на Наталье Александровне Хомяковой, урожденной Драгиусовой (Драшусовой), от ко-

торой имел трех дочерей и сына. Долгие годы работал гласным Сычевского уездного и Смоленского губернского земств. Один из лидеров общероссийского земского движения, активный участник земских съездов 1904—1905 гг. В 1905 г. стал одним из основателей партии «Союз 17 октября», с 1906 г. член ее Центрального комитета, представитель ее левого — либерального — крыла. В годы русско-японской войны — руководитель общедворянской организации Красного Креста в Москве. В 1906 г. был избран членом Государственного совета (верхней палаты Российской империи) от дворянства Смоленской губернии. Депутат II, III и IV Государственных дум от Смоленской губернии. 1 ноября 1907 г. на первом заседании III Государственной думы подавляющим большинством голосов избран председателем Думы и оставался на этом посту почти два с половиной года, до апреля 1910 г., когда вынужден был покинуть председательское кресло в знак протеста против провокационного поведения в Думе ультраправых во главе с Пуришкевичем. В 1913—1915 гг. председатель Петербургского клуба общественных деятелей. В 1918—1920 гг. — участник Белого движения: член русской делегации на совещании в Яссах в ноябре 1918 г., затем возглавлял деятельность Общества Красного Креста в Добровольческой армии и Вооруженных силах Юга России. Эмигрировал через Константинополь в Югославию (Королевство сербов, хорватов и словенцев) и скончался в Рагузе (Дубровнике) 28 июня 1925 г. семидесяти пяти лет от роду...

О том, что Николай Алексеевич Хомяков был человеком незаурядным, свидетельствуют авторитетные современники. Очень высоко ценили Н. Хомякова близкие ему по духу Сергей Витте и Петр Столыпин. Уважали его и политические оппоненты. Павел Милюков, редко о ком говоривший доброе слово, характеризовал Хомякова как «культурного и лично порядочного человека». Еще один лидер кадетов, Ариадна Тыркова-Вильямс, писала о нем в мемуарах как о человеке «умном, спокойном, с большим юмором».

Но судьба, как мы знаем, — это не только скупая биография и краткие характеристики современников. Чтобы понять судьбу Николая Хомякова, надо начать с его родового

наследия, с его семьи, чья история тесно переплелась с историей других выдающихся российских семей — Грибоедовых, Киреевских, Языковых...

Хомяковы были крупным дворянским родом России, записанным в VI части родословной книги Рязанской губернии. Пращуры Хомяковых с XV в. служили московским государям в качестве ловчих и стряпчих, начиная с времен Василия III. Хомяковы владели именьями в Рязанской, Тульской, Калужской, Московской, Симбирской, Ярославской губерниях. Происхождение большой земельной собственности семьи Хомяковых, а также их демократического и свободолобного духа имеют свои истоки. История такова: живший в XVIII в. под Тулой богатый помещик Кирилл Иванович Хомяков, владелец огромного состояния, под старость остался одиноким и не имел прямых наследников. Желая сохранить поместье для рода Хомяковых, он предложил своим крестьянам самим избрать себе барина общим советом на сходе. Крестьянские ходоки, предварительно ознакомившись с возможными претендентами из хомяковского рода, остановили свой выбор на небогатом молодом сержанте Федоре Степановиче Хомякове, который действительно оказался добрым и рачительным хозяином. Так прапрадед Николая Алексеевича Хомякова стал владельцем значительных поместий в Тульском уезде Рязанской губернии, а также дома в Петербурге. Это семейное предание, по авторитетному мнению философа Николая Бердяева, оказало влияние «на весь дух» рода Хомяковых, определило их отношение к народной жизни, к народной сходке, к происхождению земельной собственности. Хомяковы считали, что земельные богатства переданы им народной сходкой, что они были избраны народом, что именно народ поручил им владеть землей.

Прадед Н. А. Хомякова, Александр Федорович, женился на Наталье Ивановне Грибоедовой, получил в 1776 г. в качестве приданого имение в Сычевском уезде, центром которого было село Липицы (сегодня это Новодугинский район Смоленщины). В последней четверти XVIII в. Липицы были одним из самых значительных имений Хомяковых — в нем насчитывалось почти 400 душ крестьян мужского пола. Там,

на высоком северном берегу реки Вазузы, была построена большая усадьба с двумя флигелями и многочисленными хозяйственными постройками (главный дом сгорел в 1930 г.). Ближе к реке были разбиты два парка — регулярный и пейзажный, выходившие к двум искусственным прудам. Над самой рекой в 1797 г. по заказу Александра Федоровича Хомякова была построена церковь св. Николая Чудотворца.

Дед Николая Алексеевича, Степан Александрович Хомяков, был человеком европейски образованным, ярким англоманом, одним из основателей Московского Английского клуба. Он был известен не только как большой эрудит, но и как страстный игрок — проиграл в карты более миллиона рублей. В родовом предании его пример стал символом бренности людского богатства. Помнили в семье и бабушку — Марию Алексеевну, урожденную Киреевскую, — известную в Москве радетельницу патриархальных и православных устоев.

Отец, выдающийся мыслитель-славянофил Алексей Степанович Хомяков, родился в 1804 г. в Москве на Ордынке. Учился и воспитывался в основном дома: в тульском имении Богучарово, в смоленских Липицах, в Москве и Петербурге (там семья жила зимой 1814–1815 гг., когда отстраивался дом в Москве, на Петровке, рядом с Большим театром, сгоревший во время наполеоновского нашествия).

Сложилось устойчивое полуобывательское мнение, что русские славянофилы, в отличие от «западников», были людьми скорее мистическо-созерцательного, нежели практического склада, — кем-то наподобие гончаровского Обломова, в противовес практикам-западникам, этим «русским Штольцам». Между тем в отношении Алексея Степановича Хомякова — это было вовсе не так. Его религиозно-философские искания, его увлеченность поэзией, драматургией, искусством сочетались с глубоким бытовым рационализмом, здравым смыслом, точностью и ответственностью. Алексей Степанович окончил физико-математический факультет Московского университета и свое техническое, вполне прикладное образование никогда не забывал. Так, в летне-осенние месяцы 1850 г. он, воодушевившись рождением — после череды дочерей — сына «Николеньки», проводил в Богучаро-

во опыты с паровой машиной собственного изобретения. Через год, когда с помощью тульских механиков машина была готова, он послал ее на Первую Всемирную выставку в Лондон и получил оттуда патент на изобретение. Известно, что и в 1855 г., переживая крымские поражения русской армии, он, с той же решимостью, конструировал и испытывал в том же Богучарове новую модель «дальнобойного артиллерийского ружья».

Хомяков-отец с юных лет рвался на военную службу. Еще в 16-летнем возрасте он попытался убежать из дома, чтобы примкнуть к грекам в их борьбе за независимость, но был задержан на московской заставе и возвращен домой. Уже после университета он, весной 1822 г., поступил на службу в кирасирский полк, квартировавший под Херсоном; в 1823 г. перевелся в петербургский лейб-гвардии конный полк, где служил эстандарт-юнкером, потом корнетом. В начале 1825 г. вышел в отставку в звании поручика и уехал в Париж, где занимался живописью и литературным сочинительством. Но весной 1828 г., после начала новой войны с турками, он снова вступил на службу штаб-ротмистром в гусарский полк; был личным адъютантом легендарного генерала, командира 3-й гусарской дивизии, князя Валериана Мадатова. Алексей Хомяков принял участие в нескольких сражениях; в одном из них, в конной атаке, получил ранение в руку, за что был награжден орденом св. Анны III степени (в петлицу). При знаменитой осаде крепости Шумла побился с друзьями об заклад, что поскачет впереди всех к турецкому редуту. Любимый белый конь под ним был убит; сам Хомяков был ранен в ногу. Тогда же он был представлен командующим к ордену св. Владимира, но получил только Анну с бантом. Впрочем, при увольнении в мае 1830 г. он был-таки награжден Владимиром IV степени.

Алексей Хомяков был великолепным стрелком (попадал в целковый на расстоянии в 50 шагов) и всю последующую жизнь был страстным охотником. Летние месяцы он проводил в Богучарове или Липицах, а зимой жил в Москве, сначала снимая квартиру на Арбате, а затем в собственном (ставшем знаменитым своим литературно-философским сало-

ном) доме на углу Собачьей площадки и Николопесковского переуллка (там-то и родился в 1850 г. Николай Хомяков).

5 июля 1836 г. Алексей Степанович Хомяков женился на Екатерине Михайловне Языковой, сестре известного поэта Николая Языкова. Усадьбу Липицы Алексей Хомяков обустроивал специально для жены (он звал ее на английский манер — «Kitty») — как любимое их место. Они любили Липицы гораздо больше тульского Богучарово и всех других имений. Вот как Алексей Степанович описывал жене Липицы 19 октября 1842 г.: «Что за погода, как ясно, как тихо, как солнечно! Река замерзает и покрылась почти вся льдом, чистым и прозрачным, как английский хрусталь; солнце днем и месяц ночью так и отливают ее серебром да золотом; а в самой середине бежит струя синяя, синяя, как альпийские озера... Вот бы ты полюбовалась на свои Липицы! Совершенная Грузия!».

Друзья вспоминали об Алексее Хомякове как о выдающемся, энциклопедически образованном эрудите и спорщике — эти качества в немалой мере воплотились потом и в его младшем сыне. Вот что писал о Хомякове-старшем Александр Герцен: «Во всякое время дня и ночи он был готов на запутаннейший спор и употреблял для торжества своего славянского воззрения всё на свете — от казуистики византийских богословов до тонкостей изворотливого легиста. Возражения его, часто мнимые, всегда ослепляли и сбивали с толку».

Еще один друг Хомякова, близкий ему по духу либерал-славянофил Александр Кошелев, писал о феноменальной эрудированности Алексея Хомякова: «Помню, однажды отправились мы на вечер к Свербеевым, куда нас пригласили для беседы с одним русским, возвратившимся с Алеутских островов. Шутя, я говорю ему: “Ну, друг Хомяков, придется тебе нынче послушать и помолчать”. В начале вечера действительно Хомяков долго слушал этого заезжего русского, расспрашивал его подробно насчет Алеутских островов, но под конец высказал ему по этому предмету такие сведения и соображения, что путешественнику почти приходилось обратить оглобли и ехать, откуда приехал, для окончательного ознакомления с местами, где он пробыл уже несколько лет».

Но была и еще одна фигура, которая, помимо родителей, сыграла безусловную роль в судьбе Николая Хомякова. Это — ближайший друг семьи Хомяковых Николай Васильевич Гоголь. Гоголь искренне восхищался Алексеем Степановичем, боготворил Екатерину Михайловну, обожал ее брата — поэта Николая Языкова. Смерть в конце 1846 г. Языкова, с которым Гоголь многие месяцы прожил рядом в немецком Гаштайне и Риме, глубоко ранила писателя. После рождения 19 января 1850 г. в семье Хомяковых сына Николая, Гоголь, с трепетной радостью, согласился стать его крестным отцом, а потом регулярно навещал крестника.

Судьба оказалась жестокой и к родителям Н. А. Хомякова, и к его крестному — Гоголю. Летом 1850 г. Алексей Хомяков обронил в богучаровский пруд обручальное кольцо. Пруд он тут же велел вычерпать, но кольцо так и не сыскалось. Екатерина Михайловна посчитала это дурной приметой, очень опасалась за мужа. Но через несколько месяцев беда случилась с ней самой: сначала простуда, потом тифозная горячка и быстрая кончина. Смерть еще одного дорогого человека окончательно надломила Гоголя. 28 января 1852 г., на панихиде по усопшей, Гоголь сказал Хомякову: «Всё для меня кончено». На следующий день он не смог прийти на похороны. «С этого времени, — писал лечивший Гоголя врач А. Т. Тарасенков, — мысль о смерти и о приготовлении себя к ней, кажется, сделалась преобладающей его мыслью». 9 февраля Гоголь последний раз приехал к Хомякову и долго, несколько часов подряд, играл со своим крестником. Судьба распорядилась так, что двухлетний ребенок, Николенька Хомяков оказался последним, с кем общался великий Гоголь. 10 февраля Гоголь написал прощальное письмо матери, всю ночь с 11-го на 12-е жег бумаги, в том числе рукописи второго тома «Мертвых душ». Больше он с постели не вставал, отказывался принимать пищу и видеть друзей и в восемь утра 21 февраля 1852 г. скончался.

Алексей Степанович писал в те дни А. Н. Попову: «Николенькин крестный отец, Гоголь наш, умер. Смерть моей жены и мое горе сильно его потрясли; он говорил, что в ней для него умирают многие, которых он любил всей душою, осо-

бенно же Н. М. Языков. На панихиде он сказал: всё для меня кончено. С тех пор он был в каком-то нервном расстройстве, которое приняло характер религиозного помешательства. Он говел и стал морить себя голодом... В субботу на масленице Гоголь был еще у меня и ласкал своего крестника... Я мог бы написать об этом психологическую штудию; но кто поймет, кто захочет понять? А сверх того, и печатать будет нельзя...».

Переживши в Москве сороковой день по кончине жены, а потом и сороковины Гоголя, Алексей Хомяков уехал в Липицы, откуда несколько месяцев никому не писал. Только в августе, проездом в Богучарово через Москву, он написал Ю. Ф. Самарину: «Не знаю, слыхали ли вы, какое чудное место эти Липицы, как они, можно сказать, ненаглядно-хороши! Катя любила их еще более моего; она говаривала, что не отдала бы их за Ричмонд, который за границей нравился ей более всего. Много я там сделал посадок при ней, но еще более в последние три года, в которые ей не удалось там быть, и все удались, и я думал ее обрадовать ими неожиданно, потому что она обо многих не слыхала. И всё принялось, и всё разрастается! Невероятная тоска напала на меня. Я старался не подаваться, работал усердно, упрямо; ничто не помогало. Сердце не хотело от нее отступить...».

23 сентября 1860 г. Алексей Степанович Хомяков умер от холеры в селе Ивановском Донковского уезда Рязанской губернии (сегодня — это Липецкая область). Он приехал туда бороться с эпидемией; его последними словами были: «Стольких вылечил — а себя не сумел». Его младшему сыну, Николаю Хомякову, было в ту пору немногим более десяти лет...

...По общему мнению исследователей, Николай Алексеевич Хомяков стал самым знаменитым за всю историю Смоленщины губернским предводителем дворянства. С ним может сравниться разве что Сергей Иванович Лесли (из шотландцев, перешедших на русскую службу) — дворянский предводитель, организовавший смоленское народное ополчение в 1812 г. Хомяков, самобытный и талантливый человек, умелый хозяин и администратор, один из лидеров обще-

российского праволиберального движения, пережил свои «звездные часы» на посту председателя III Государственной думы.

Есть известное древнеримское изречение: «Значение твоей личности определяется в том числе величиим недругов, которых ты победил». Уже само избрание Хомякова на думский председательский пост было связано с острейшей политической борьбой. Из общего числа депутатов Третьей думы — 442-х, у «октябристской» фракции было только 154 депутата. Чтобы составить думское большинство, правительство Петра Столыпина своим влиянием выделило из правых депутатов группу в 70 человек «умеренно-правых». Таким образом, в Думе составилось неустойчивое правоцентристское большинство в 224 голоса. В этих условиях значение при выборах председателя имела не только партийная принадлежность, но и масштаб личности кандидата.

Самым вероятным кандидатом на пост председателя был граф Алексей Александрович Бобринский (1852—1927), сын скончавшегося в 1903 г. графа Александра Алексеевича Бобринского — бывшего петербургского губернатора, бывшего петербургского губернского предводителя, члена Государственного совета. Да и сам граф Алексей Бобринский был личностью по-своему выдающейся. После учебы на юридическом факультете Петербургского университета служил в канцелярии Кабинета министров. С 1875 г. санкт-петербургский уездный предводитель; с 1878 по 1898 г. (в течение двадцати лет!) санкт-петербургский губернский предводитель дворянства, председатель Петербургской городской думы, председатель Совета русско-английского банка. Но Алексей Бобринский — еще и крупнейший ученый-археолог: с 1886 г. (и до 1917 г.) — председатель Императорской Археологической комиссии, член многих иностранных археологических обществ. Обследовал около тысячи курганов, главным образом в Керчи и Киевской губернии, собрал уникальную коллекцию старинной бронзы. В 1889—1890 гг. вице-президент Академии художеств. При этом граф Алексей Бобринский был человеком ультраправых взглядов; в период революции 1905—1907 гг. выступил сторонником консолидации помещ-

ного дворянства, в мае 1906 г. был избран председателем Совета объединенного дворянства. Не пройдя в первые две Думы как чересчур «правый», он в Третью думу был избран от Киевской губернии. Граф Бобринский всегда выступал с беспощадной критикой правительства П. А. Столыпина, и его избрание на пост председателя Думы несомненно поставило бы под вопрос проведение правительственных реформ.

Кабинет Столыпина и лично премьер оказались в сложнейшем положении. Консультации показали: единственной фигурой из умеренно-либерального лагеря, способной переиграть ультраправого радикала графа Бобринского является смоленский депутат-октябрист Николай Хомяков. Он мог собрать голоса не только «октябристов» и «умеренно-правых», но также кадетов и части «националистов»: сын известного философа и литератора, смоленский губернский предводитель, умеренный земец и в то же время — крупный государственный сановник (был шесть лет директором министерского департамента), бывал на турецкой и японской войнах.

Из мемуарной литературы известно, что Хомяков долго отказывался от предложения занять председательский пост. В. А. Маклаков, например, писал о Хомякове, что, как «человек исключительной шепетильности» и «чуждавшийся политических дрязг», он «на эту Голгофу идти не хотел и отказался». Однако лично вмешался премьер-министр Столыпин, хорошо знавший Хомякова и заинтересованный в том, чтобы Думу возглавил не ультраправый, ориентированный на самую консервативную часть императорского двора, граф Бобринский, а такой человек, как Хомяков, — с центристскими взглядами, способный наладить партнерскую работу с реформаторской частью правительства. Маклаков вспоминал: «За отказом Хомякова он [Бобринский] имел все шансы. Но Столыпин, услышав про это, вмешался; он сам приехал к Хомякову, просидел у него целый вечер, убеждал его идти в председатели и соблазнял перспективой дружных работ по проведению Манифеста [17 октября]. Хомяков уступил. Кандидатура гр. Бобринского этим отпала, и Хомяков был выбран почти единогласно».

Читая стенографические отчеты заседаний Третьей думы, поражаешься, как тонко, поистине виртуозно, умел Николай Хомяков лавировать между Сциллой реакции и Харибдой революции, между правым и левым радикализмом. Но этот виртуозный «председательский слалом» не мог продолжаться долго. В конце концов Хомяков не смог воспрепятствовать лобовому столкновению думского ультраправого провокатора Пуришкевича и левых депутатов. Он подал в отставку. И в этом смысле его личная судьба совпала с политической судьбой целого направления в отечественной мысли и политике — политической судьбой российского либерализма. Отставка Хомякова в апреле 1910 г. стала лишь ранним прологом последующих драматических событий, обрушивших целый континент — историческую Россию, оказавшуюся в начале прошлого века неспособной преодолеть внутренний раскол. Николай Алексеевич Хомяков прожил еще пятнадцать лет, но судьба более не баловала его...

P.S. Несколько лет назад мне с помощью друзей из православной общины хорватского города Дубровника удалось разыскать могилу Н. А. Хомякова. Известно, что Дубровник оказался в эпицентре недавней гражданской войны в Югославии и сильно пострадал. Православное кладбище подверглось глумлению; скромный обелиск над могилой Н. А. Хомякова и его жены Натальи Александровны был серьезно поврежден...



Василий Андреевич Караулов:

**«Церковь тогда только
разовьет свою духовную
мощь, когда она будет
церковью, а не ведомством»**

Ранние годы

Василий Андреевич Караулов (1854–1910), человек удивительной судьбы, проделавший путь от радикального народничества к христианскому либерализму и ставший одним из лидеров Конституционно-демократической партии, родился в Торопецком уезде Псковской губернии в семье потомственного дворянина. Обучался в витебской гимназии, затем — в Санкт-Петербургском и Киевском университетах, но, увлекшись политикой, курса не окончил. Вместе с братом Николаем работал в «Синем Кресте» — обществе помощи политическом ссыльным и заключенным, был агентом Исполнительного комитета леворадикальной партии «Народная воля». После разгрома организации в 1883 г. уехал в Париж, где участвовал в совещаниях оставшихся на свободе народовольцев. Вместе с Г. А. Лопатиным и Л. А. Тихомировым был участником партийного суда над провокатором С. Дегаевым. По возвращении в Россию, в качестве уполномоченного нового Исполнительного комитета, был арестован в Киеве в марте 1884 г. и судим военно-полевым судом по «процессу 12 народовольцев».

Прокурор требовал квалифицировать преступления подсудимых по 249-й статье Уложения о наказаниях, карающей за антигосударственные деяния смертной казнью. Однако группу квалифицированных защитников возглавил мэтр русской адвокатуры Л. А. Куперник, о котором на юге России ходила поговорка: «Где бог отступился — там еще можно к Купернику пойти!». Своим главным помощником

Куперник взял восходящую звезду киевской адвокатуры А. С. Гольденвейзера. Свой отпечаток на ход и итоги процесса наложила и личность председательствующего на суде генерала П. А. Кузьмина. В 1849 г. выходец из дворянской старообрядческой семьи, тридцатилетний штабс-капитан Генерального штаба Кузьмин был арестован по доносу провокатора Антонелли и провел пять месяцев в Алексеевском равелине Петропавловской крепости (вместе с М. В. Петрашевским, Ф. М. Достоевском и др.), а затем судим на знаменитом «процессе петрашевцев». Тогда виртуозной защитой Кузьмин сумел полностью самооправдаться и вышел на свободу. Но брезгливость к провокаторам он, дослужившийся до звания генерал-лейтенанта, судя по всему, сохранил на всю жизнь.

Итак, защите, во главе с Куперником и Гольденвейзером, удалось расшатать обвинение и вывести подсудимых из-под 249-й статьи. В итоге: ни одного смертного приговора, трое подсудимых были оправданы. В. А. Караулов был приговорен к 4 годам каторжных работ с последующей высылкой на поселение и лишен прав состояния. Высшие власти были крайне недовольны: министр внутренних дел граф Д. А. Толстой лично запросил киевского генерал-губернатора А. Р. Дрентельна о причинах столь мягкого приговора. В ответ Дрентельн написал, что «каторжные работы, хотя бы и на 4 года, он не может считать мягким наказанием». Тем не менее генерал П. А. Кузьмин был отстранен от должности председателя Киевского военно-полевого суда.

В Шлиссельбургской тюрьме и Енисейской ссылке

Осужденные по «процессу двенадцати» были отправлены сначала в Трубецкой бастион Петропавловской крепости, а в конце декабря 1884 г. переведены в Шлиссельбургскую тюрьму на острове Ореховый у истока Невы из Ладожского озера, получившую недоброе имя «сухой гильотины». Летом 1884 г. здесь, рядом со «старым корпусом» («Секретным домом», заложенным еще Петром III), была, под личным кон-

тролем императора Александра III, открыта «новая тюрьма», построенная «по американскому образцу»: сорок камер-одиночек размером 3,5 на 2,5 м.

О шлиссельбургском заточении Караулова рассказал позднее непосредственно общавшийся с ним в тюрьме Н. А. Морозов, впоследствии выдающийся ученый. После того как несколько узников предприняли попытки самоубийства и режим был несколько смягчен, арестантам разрешили парные прогулки. Поначалу в пару Морозову давали сошедших с ума Н. П. Щедрина, а потом В. П. Конашевича. Морозов позднее написал: «Кто не испытал этого сам, тот никогда не будет в состоянии понять, что значит жить в полном одиночестве в мрачной камере, как в могильном склепе, и день и ночь, целые годы, и в то же время думать, что приближается час, когда вы очутитесь вдвоем с сумасшедшим, который все время будет поверять вам свои галлюцинации, и вы ничем не будете в состоянии отвлечь его от них... Я чувствовал, что сам каждую минуту могу сойти с ума».

Но неожиданно напарника по прогулкам снова сменили — им оказался Василий Караулов. Морозов вспоминал: «Мы начали перебирать знакомых, и я убедился, что он плохо говорит и путается в словах только потому, что отвык от разговоров... Караулов был для меня вестником лучших дней в неволе, а прогулки сделались настоящим праздником!... И кто знает, сохранился бы мой рассудок, если бы он не явился ко мне на помощь как раз в то время, когда я в этом более всего нуждался... В полтора с лишком года наших ежедневных свиданий мы, конечно, истощили все предметы личных разговоров и поневоле начали уходить в область науки и говорить о великих проблемах физики и астрономии, которые тогда волновали не только меня, но и его».

Известная революционерка Вера Фигнер, знавшая молодого Караулова еще до его ареста, впоследствии также узница Шлиссельбурга, вспоминала: «Это был, как говорится, ражий детина, громадного роста, широкоплечий, жизнерадостный, с лицом — кровь с молоком... Этот брызжущий здоровьем атлет вышел из Шлиссельбурга с лицом покойника». В 1888 г. Караулов был отправлен на поселение в с. Усть-

Уду на р. Ангаре (Балаганский округ). Позднее ему разрешили перебраться в с. Устюг, поближе к Красноярску, а в 1893 г. по распоряжению генерал-губернатора Восточной Сибири Караулов был переведен в сам Красноярск.

Существует версия, что именно молодой народоволец Василий Караулов стал одним из прототипов (наряду с итальянцами Гарибальди и Мадзини, англичанами Байроном и С. Рейли, украинцем Степняком-Кравчинским) карбонария Артура Бертон — героя романа английской писательницы Этель Лилиан Войнич «Овод». Дело в том, что во время своего приезда в Россию в 1887–1889 гг. (Василий тогда находился в Шлиссельбурге, а потом в ссылке) Этель Буль (будущая Войнич) довольно долго жила в петербургской квартире Карауловых, а также в их псковском имении, где работала над материалами о русском освободительном движении. Судьба сына-заключенного была постоянным предметом обсуждений в карауловской семье.

В Красноярске ссыльный В. А. Караулов — уже убежденный либерал, глубоко верующий христианин и противник политического террора. Он фантастически много читает, изучает языки, занимается частным преподаванием. Особенно углубленно он развивает знания, полученные в юности по юриспруденции. Одна из учениц Караулова в Красноярске, А. Черемных, вспоминала: «Через его руки проходило почти всё, что готовилось в гимназию или, поломанное нашей педагогической бюрократией, выброшенное за борт, готовилось держать экстерном. Большинство культурной молодежи Енисейской губернии были учениками В. А. Караулова, и целые поколения воспитывались под его благотворным влиянием. В. А. целыми днями бегал по урокам, как бедный студент». Мемуаристка отмечала, что Караулов и его жена-врач П. Ф. Личкус, приехавшая к мужу в ссылку, играли тогда «первую роль в рядах красноярской идейной интеллигенции»: «В далеком сибирском захолустье, выброшенные за борт общественной жизни, они твердо и уверенно несли маленький светоч культурных общественных интересов среди холодных сибирских снегов, диких буранов и полновластия сильных мира сего».

А. Черемных также вспоминала, что В. Караулов обладал «редкой, своеобразной речью, то полной тонкого изящного юмора, то беспощадного сарказма, или мягкой, доходящей до нежности сердечности» и «неотразимо покорял всех, кто имел счастье знать его близко», — эти особенности карауловского слова затем ярко проявятся в стенах Государственной думы. Ученица Караулова хорошо запомнила один из его любимых рассказов о начале работы в Красноярске: «Наконец приехала ко мне в Сибирь жена, получила она место врача, заведующего амбулаторией. Я же бьюсь, бьюсь, как рыба об лед, никакого заработка найти не могу: «поднадзорный — и баста!». Стыдно, понимаете, на жениных харчах было пробиваться. Росту я чуть не в сажень косую, аппетит адский, а работы никто не дает. А я, кажись, своротил бы гору работы — силой Бог меня не обидел. Стал я просить жену, чтоб устроила меня сторожем при амбулатории. Оказала она мне протекцию, жалованья положили мне 5 рублей и сказали, что в обязанности мои входит мытьё склянок под лекарство. Обрадовался, служу при амбулатории. Засучил рукава, мою склянки, но только комната-то давалась мне маленькая, как чуть неосторожно повернусь — трах!.. Летят мои склянки вдребезги! Что за чертовщина! Скляночки малюсенькие, а ручища у меня огромная — никак не приноровлюсь!.. Стала жена за месяц отчет писать, посуды больше чем на восемь рублей не хватает».

Во главе красноярских конституционалистов

В первые годы нового века В. А. Караулов — один из основателей красноярского «Союза освобождения», затем — местной организации Конституционно-демократической партии. К этому времени он овдовел: жена скончалась от быстрой чахотки. В ноябре 1905 г. Караулов, частично амнистированный по Манифесту 17 октября, стал участником исторического съезда земских и городских деятелей в Москве. При обсуждении вопроса о будущем устройстве России примкнул к «умеренным», поддержав конституционно-монархическую позицию их лидера, графа П. А. Гейдена. В стенограмме съезда есть такая запись: «Г-н Караулов (Ени-

сейская губ.) заявил, что он провел 24 года в тюрьмах и крепостях по политическим преступлениям, но не верит в осуществление демократической республики в России и присоединяется к гр. Гейдену от лица тех, которые послали его сюда». Однако по большинству других принципиальных вопросов Караулов солидаризировался с кадетами, в том числе и по разделившему их с «октябристами-гучковцами» вопросу об автономии Польши. Правда, и здесь Караулов предложил формулировку, которая могла несколько смягчить ситуацию. «Польскую автономию» он предложил называть «областным самоуправлением на началах общеимперской конституции», однако эта компромиссная поправка была отклонена кадетским большинством.

Еще один участник ноябрьского 1905 г. земско-городского съезда, завершившего свою работу в московском («мавританском») особняке А. А. Морозова на Воздвиженке, П. Б. Струве, позднее вспоминал, что именно тогда близко познакомился с В. А. Карауловым: «То было время, когда трудно было идти против охватившего общество радикального возбуждения, перед которым пасовали отчасти по слабости, отчасти по оппортунистическому расчету и целые общественные группы, и отдельные лица... С той памятной встречи, когда в буфетеподвале Морозовского палаццо шлиссельбуржец-каторжанин Караулов подошел ко мне и, выражая сочувствие моему «умеренному» заявлению, только что перед тем вызвавшему свист и шипение с хоров, протянул руку для знакомства, мы никогда не расходились ни по взглядам, ни по настроению».

Вернувшись в декабре 1905 г. в Сибирь, В. А. Караулов на ряде многолюдных собраний и в либеральной печати решительно выступил в защиту конституционалистской тактики своей партии и против экстремизма революционных организаций. Его умеренная политическая позиция привлекла благожелательное внимание самого премьер-министра графа С. Ю. Витте, искавшего союзников в среде российской общественности. Вопреки скепсису министра внутренних дел П. Н. Дурново, Витте увидел в эволюции взглядов Караулова (от народовольчества — к конституционному демократизму) положительный пример в борьбе с крайностями

революции. В докладной записке на Высочайшее имя премьер полагал «весьма полезным отменить лежащие на Караулове ограничения, дабы тем дать ему возможность более широкого служения здраво им понимаемому патриотическому долгу». В результате 2 февраля 1906 г. Караулову было даровано полное помилование. Восстановленный во всех правах, он регистрируется частным поверенным при Красноярском окружном суде, активно сотрудничает в красноярской либеральной газете «Сибирь».

На выборах в I Думу кадетам удалось провести в выборщики по Енисейской губернии нескольких своих лидеров: В. А. Караулова в Красноярске, А. М. Трескова в Ачинске, А. А. Станкеева в Енисейске. Однако губернское собрание избрало депутатами Государственной думы значительно более левых кандидатов, примкнувших затем в Петербурге к «трудовой группе», — шушенского крестьянина Симона Ермолаева и минусинского врача Федора Николаевского.

Похожая история повторилась и во время избирательной кампании во II Думу, в которую теперь активно включилась и красноярская организация социал-демократов, ранее бойкотировавшая выборы. Именно социал-демократам удалось провести в губернское собрание наибольшее число своих выборщиков, двое из которых — рабочие Иван Юдин и Федор Никитин — были избраны депутатами. Правда, власти отменили избрание Никитина, и его место в Думе от Енисейской губернии занял близкий к социалистам-революционерам священник Александр Бриллиантов.

Депутат от Енисейской губернии

Осенью 1907 г., на выборах в III Думу, конституционный демократ В. А. Караулов в очередной раз был избран выборщиком от Красноярска. 23 сентября 1907 г. он выступил на общегородском предвыборном собрании граждан, собравшем около 600 человек. Главный смысл его речи передает заключительная фраза: «Правые смотрят в XVII век, а крайние левые — в XXI. Задача момента заключается не в организации пролетариата для борьбы с буржуазией, а в отстаивании кон-

ституционных начал общими силами всех прогрессивных групп».

Активным оппонентом частного поверенного, кадета В. А. Караулова выступил на тех выборах лидер местного отделения «Союза русского народа», о. Варсонофий Захаров, тоже выборщик от Красноярска. Черносотенцы представили тогда в губернское управление список избирателей, которых, по их мнению, следовало лишить избирательных прав. Против каждой фамилии стояли пометки: «сидел в тюрьме», «находится под надзором» и т.д. Одним из первых в этом списке значилась фамилия Караулова.

25 октября 1907 г. в Красноярске, в помещении губернского общественного собрания, состоялись выборы депутата III Государственной думы от Енисейской губернии (в соответствии с «третьеиюньским» избирательным законом квота от губернии была сокращена до одного человека). Участвовало 28 ранее избранных выборщиков, но в первом туре ни один кандидат не набрал большинства голосов. Лидер черносотенцев о. Захаров вообще получил всего один голос и отказался от дальнейшей борьбы. На следующий день, 26 октября, прошла повторная баллотировка, которая принесла победу В. А. Караулову (18 голосов из 27). 29 октября Караулов выехал из Красноярска в Петербург для участия в открытии III Думы: его проводы на железнодорожном вокзале и напутственные речи стали заметным событием в жизни Красноярска.

В Петербурге товарищи по партии помогли ему снять небольшую квартиру в знаменитом «кадетском доме» № 7 на Потемкинской улице. Здесь, совсем рядом с Таврическим дворцом, он проживет три года с второй женой, Ольгой Ивановной, вплоть до своей смерти.

В III Государственной думе В. А. Караулов вошел во фракцию конституционных демократов и — одновременно — в «Сибирскую парламентскую группу», которая также находилась под кадетским влиянием. Он активно работает в комиссиях по вопросам вероисповедания, по делам Православной церкви, по местному самоуправлению. Однако наибольшую известность как в стенах Думы, так и в обществе в целом принесло В. А. Караулову председательство в комиссии по

старообрядчеству, куда вошли такие известные политические деятели различных направлений, как лидеры партии «Союз 17 октября» А. И. Гучков и М. Я. Капустин, влиятельный кадет В. А. Маклаков, епископ Евлогий (Георгиевский), активный черносотенец Г. А. Щечков и др.

Отдавая много времени работе в комиссиях, конституционалист В. А. Караулов твердо придерживался линии на конструктивную работу с другими думскими фракциями и правительством, на т.н. «органическую работу», часто повторяя поговорку: «Лучше маленькая рыбка, чем большой таракан». И его усилия принесли успех: фактически Караулов стал основным экспертом и оратором либеральной части Думы по вероисповедным вопросам, оказавшимся в 1907–1910 гг. в центре внимания народного представительства.

Уже в ходе первой сессии III Думы в конце 1907 — начале 1908 г. сибирский депутат В. А. Караулов показал себя влиятельным парламентарием, органично соединившем в себе глубокую христианскую религиозность с неменьшей верой в либеральные права и свободы человека. Для молодого российского парламента это было необычно: религиозную тематику всегда активно эксплуатировали националисты и черносотенцы, в то время как либералы, рассуждая о правах и свободах, как правило, избегали говорить о религии. Фактически именно В. А. Караулов, поначалу чуть ли не в одиночку, сумел организовать в Думе своего рода «центр» — не формально политический, а содержательный, поставив во главу угла идеи «христианского либерализма». Его усилия были оценены не только в кадетской партии, где практически не было специалистов по вероисповедным вопросам, но и значительным числом доминирующих в Думе членов «Союза 17 октября», либеральная часть которых быстро разглядела в кадете Караулове полезного союзника в борьбе с правыми и националистами. Намечающийся идейный союз октябристов во главе с А. И. Гучковым и не чуждающихся вопросов религии кадетов (В. А. Караулова, В. А. Маклакова, В. С. Соколова) быстро принес «новому центру» конкретные кадровые и политические дивиденды. Так, фактически личное оппонирование Караулова — товарища (заместите-

ля) председателя вероисповедной комиссии — ее председателю, правому епископу Евлогию, привело к быстрой отставке последнего и его замене октябристом П. В. Каменским. В свою очередь «октябристы» поддержали идею создания отдельной думской комиссии по старообрядческим вопросам и избрание В. А. Караулова ее председателем.

Защитник народных прав и свобод

Первым концептуальным выступлением В. А. Караулова в III Думе стала его большая речь 22 марта 1908 г. с изложением позиции кадетской фракции по утверждаемой Думой смете Священного синода. Высказанные тогда Карауловым идеи и предложения явились характерным воплощением его христианско-либерального мировоззрения. С одной стороны, он поддержал идею разгосударствления церковной жизни, отметив, что «деятельность правительства в XVIII столетии, в первой его половине, передавая в распоряжение государства громадное большинство средств церквей и монастырей, была нарушением как гражданского, так и канонического права». Однако, с другой стороны, Караулов решительно высказался в пользу демократизации самой церкви, перенесения центра православной жизни с церковной иерархической субординации на жизнь самоорганизующихся православных приходов. Отметив, что «основа всякой церковной организации, несомненно, приход» и что «фактически в настоящее время приходов у нас не существует», Караулов обозначил главные проблемы русского православия: «Зло заключается в фактически 2 1/2 вековом уничтожении внутри присущего нашей православной церкви соборного начала, зло заключается в фактическом упразднении основной церковной общественной ячейки — прихода, потому что мы имеем церковь как здание, имеем священников, но не имеем приходов как общественной организации. Зло заключается в том, что у нас в настоящее время церковь мыслится не как союз верующих, а как иерархия, да вдобавок еще подчиненная государству. Вот устранение этих зол и будет снятием тяжелой государственной руки, и, я сказал

бы, нечистой для этого дела государственной руки, со святого дела церкви». От имени кадетской фракции Караулов призвал увеличить правительственное финансирование именно приходов, ибо это «является первым шагом к освобождению церкви из пленения вавилонского государству, оно является первым шагом к восстановлению утраченного церковью соборного начала и первым шагом к учреждению прихода как общественно-церковной организации (*рукоплекскания*)».

Больше полутора лет думская комиссия по старообрядческим вопросам под председательством В. А. Караулова скрупулезным образом работала над поправками к проекту закона о старообрядческих общинах, внесенному в Думу министром внутренних дел. Для Караулова это было время не только работы над текстом закона, но и постоянных поездок по старообрядческим общинам по всей стране. 12 мая 1909 г. он наконец выступил в Думе с большим докладом. В нем, от имени комиссии, Караулов предложил внести в министерский проект ряд принципиальных поправок. Проект комиссии предлагал закрепить за старообрядцами (а их к тому времени в России насчитывалось не менее 12 миллионов человек) не только право на их веру, но и на ее проповедование. Согласно проекту «комиссии Караулова», уменьшалось число лиц, имеющих право ходатайствовать о создании общины (с 50 до 12), «дабы учесть ситуацию в отдаленных краях Империи, мало населенных, каковою является вся Восточная Россия». Предлагалась замена разрешительного порядка регистрации старообрядческой общины на явочный, равно как и замена утверждения духовных лиц и старост на их простую регистрацию в губернских правлениях. Проект предлагал также закрепить за духовными лицами старообрядческой веры официальное наименование «священнослужители по старообрядчеству», приближавшее их к статусу священников Русской православной церкви.

Представители думских националистов резко выступили против проекта закона, предложенного «комиссией Караулова», называя его «разрушением народных устоев». Так, епископ Евлогий заявил, что под видом разрешения «пропове-

дывания» проект Караулова узаконивает за старообрядцами право «религиозной пропаганды», что неприемлемо: «Здесь речь идет не о простой проповеди, как принадлежности богослужения, а здесь вводится новое, хотя, может быть, несколько замаскированное начало, именно свобода пропаганды, свобода привлечения последователей из других вероисповеданий, не исключая и православного».

В. А. Караулов не оставил без возражений аргументацию оппонентов. 13 мая 1909 г. он заявил с думской трибуны, что предложение националистов сохранить за Православной церковью монопольное право религиозной пропаганды ведет к деморализации и деградации самой господствующей Церкви: «Я полагаю, что именно те средства, средства затыкания чужого рта, средства пресечения иного мнения, привели Православную церковь к состоянию слабости и дезорганизации». Караулов сравнил нынешнюю ситуацию с печальной памяти временами гонений на последователей протопопа Аввакума: «Пропаганда была строго запрещена. За пропаганду жгли. Аввакума сослали в ледяные сибирские пустыни и затем в Пустозерском остроге сожгли, чтобы пресечь его голос, а этот же Аввакум написал о своих страданиях страшную книгу, которая в течение десятков поколений жгла сердца многих миллионов старообрядческих масс (*рукоплекскания*), которая создавала в ее среде десятки таких же Аввакумов, бестрепетно шедших на страдания и смерть. Эти меры создавали то, что к пропаганде, которую они прекратить никогда не могли, они прибавляли ореол мученика для проповедников... Теперь не будет плетей, костра, а будет каталажка, вонючая полицейская каталажка, арестный дом, высылка; но неужели же вы думаете, что то, чего нельзя было прекратить плетями и кострами, можно прекратить полицейскими каталажками?». Караулов призвал депутатов не бояться слова «пропаганда»: «Была пропаганда, есть она, и будет она, и фактически вы ей воспрепятствовать не можете, всякими запрещениями вы ее усиливаете, и в этом не одна невыгодная сторона этого вопроса для православия: есть и другая. Те, кто употребляет такие меры, обращают невыгодные последствия не на тех, против кого они их употребляют,

а уменьшают силу тех, кто их употребляет; и в этом, господа, есть историческая Немезида... Наша церковная иерархия за приказно-полицейским хребтом привыкла больше рассчитывать на этот приказно-полицейский хребет, чем на истинно церковное и христианское воздействие, чем на силу слова и на силу примера христианского действия».

Караулов привел и более близкий исторический пример — «идейное безволие» официальной Церкви и гонения на реформаторов православия в годы «николаевской реакции». Это был сильный полемический и политический ход: Караулов поставил в центр своих рассуждений имя русского мыслителя Алексея Степановича Хомякова — родного отца ведущего думское заседание, председателя III Думы Николая Алексеевича Хомякова. «Я опять обращаюсь к той эпохе, — сказал Караулов, — когда Церковь не принимала со своей стороны никаких мер, и когда нашелся светский человек, мирянин, глубоко преданный делу православия, одаренный блестящим диалектическим талантом, глубокий знаток церковных вопросов, он поплыл против течения, и Церковь приняла ли его услуги? Та самая духовная цензура, которая... существует для того, чтобы удерживать на высоте моралитет православной проповеди, не разрешила сочинений А. Хомякова; они были напечатаны где-то за рубежом, в Праге, и в то время, когда в них более всего нуждалось образованное русское общество, уходившее из церкви, они были достоянием немногих избранных... А теперь, господа, когда мы, образованные и верующие миряне, обращаемся с предложением, имеющим в своей основе желание прекратить этот церковный сон, восстановить Церковь в ее значении и силе, что мы получаем в ответ?... Теперь нам предлагают... продолжать удерживать за Церковью эту, как говорили здесь даже иерархи Церкви, драгоценнейшую привилегию, привилегию затыкания рта, гашения свободного человеческого духа в высших своих порывах ищущего своего Бога (*рукоплекания*). Это не привилегия, это пятно, наложенное на Церковь, и чем скорее это пятно мы снимем, тем лучше сделаем мы для Церкви, тем скорее возвратим ее к той великой задаче, которую она должна делать (*рукоплекания*)».

В защиту «проекта Караулова» высказались не только его соратники по кадетской фракции (П. Н. Милуков, В. А. Маклаков, В. С. Соколов), не только лидеры «левых» (Н. С. Чехидзе), но и — что было принципиально важным — значительная часть «октябристов». Решающим стало выступление лидера думской фракции «Союза 17 октября» Александра Ивановича Гучкова, на позицию которого, несомненно, наложили отпечаток факты его личной биографии. Когда-то его прадед, крупный промышленник и лидер московских старообрядцев, был арестован и сослан фактически за то, что отказался вступить в коммерческую сделку с московским губернатором Закревским. А деда Гучкова буквально принудили, для сохранения семейного дела и политической карьеры, перейти из старообрядчества в ортодоксальное православие.

Выступив на заседании 15 мая 1909 г., А. И. Гучков согласился, что к обсуждаемому в Думе закону о правах старообрядцев действительно «приковано внимание всей России», и отметил «ту блестящую защиту, которую нашел доклад комиссии по старообрядческим вопросам здесь и со стороны докладчика и со стороны других ораторов». С другой стороны, отметил Гучков, «та убогая аргументация, которая была выставлена противниками, как вы видели, вынуждена была прикрываться пафосом и громкими словами, чтобы несколько замаскировать свое убожество»: «И напрасно старались с правых скамей инсинуировать, будто бы все это подсказано какой-то политической, некоторые говорили даже, еврейской интригой; старообрядцы будут донельзя удивлены, когда узнают, что их давнишние, заветные, коренные требования оказываются продуктом еврейской или кадетской интриги».

По мнению Гучкова, не должен вызывать удивления тот факт, что «в настоящее время старообрядцы только в твердых нормах закона ищут гарантии своим правам... Та боязливость и подозрительность в отношении к светской власти, которую вы чувствуете в этих требованиях, разве они не находят себе объяснения в том, что в течение двух с половиной веков старообрядчество, вместе с еврейством, составляло самый богатый источник доходов, предмет эксплуатации для низшей, средней, даже высшей администрации (*голоса: вер-*

но). Поговорите со старообрядцами, и они вам укажут, кого они содержали: не только исправники и становые, не только губернаторы, но и генерал-губернаторы пребывали на содержании у старообрядчества (*рукоплекскания*). И вот старообрядцы хотят раз навсегда смахнуть с себя это вмешательство». Концовка речи Гучкова вызвала овации большинства Думы; на том же заседании 15 мая 1909 г. законопроект в редакции «комиссии Караулова» был принят.

Переданный в верхнюю палату, Государственный совет, Закон о старообрядчестве подвергся там еще более резкой критике. Оппозицию, при опоре на ортодоксальные круги Русской православной церкви, возглавил лидер черносотенцев в Госсовете П. Н. Дурново. В созданной согласительной комиссии двух палат российского парламента они снова встретились «один на один»: Караулов и Дурново. Когда-то, двадцать лет назад, состоялась их первая встреча: в одиночную камеру Шлиссельбургской крепости, где отбывал наказание народоволец В. А. Караулов, заходил с инспекцией тогдашний директор Департамента полиции П. Н. Дурново...

В конце мая 1909 г. III Дума приступила к обсуждению следующего законопроекта — об изменении законоположений, касающихся перехода из одного вероисповедания в другое. В его основу были положены предложения министерства внутренних дел, но думская комиссия по вероисповедным вопросам под председательством «октябриста» П. В. Каменского внесла серьезные изменения в сторону либерализации закона. Активную роль в разработке нового законопроекта сыграл В. А. Караулов, который имел большое личное влияние на Каменского и который позднее говорил об этом законопроекте так: «Я до гробовой доски буду горд той мыслью, что в этом законе есть хоть малая капля моего меда».

В. А. Караулов выступил с большой речью в поддержку законопроекта на пленарном заседании Думы 23 мая 1909 г. Он начал с констатации того, что ораторы-националисты и вместе с ними вся черносотенная пресса полагают, что если в «старообрядческом законе» либералы-правозащитники «подкапывались под основания Православной Церкви», то при обсуждении нового закона о возможности смены вероиспове-

дания они «уже идут против самого христианства». В противовес черносотенной демагогии Караулов выдвинул контртезис: «Мы выставляем этот закон и защищаем его, как основной принцип именно христианского государства». По его мнению, русские клерикалы уподобляются древним римлянам, которые, преследуя первых христиан, тоже говорили о «пользе римской государственности». Точно так же, по мнению Караулова, ведут себя современные русские клерикалы, которые оправдывают религиозную нетерпимость «пользой российской государственности». Подлинное христианское сознание, по мнению Караулова, несовместимо с религиозной нетерпимостью: «Свободу совести создало христианство, ее принес на землю Христос, учивший, что всякое деяние постольку в нравственном и религиозном смысле ценно, постольку оно исходит из свободного произволения человеческой души». Караулов призвал различать христианское сознание русского народа и клерикальную нетерпимость его псевдорадетелей: «Наше церковное здание было заставлено целыми лесами различных полицейских подпорок и перегородок, закрывавшим его величаво-приветливую, уютную красоту... Нам говорят, нельзя вводить свободу совести ввиду православных чувств русского народа. Этот довод, господа, приводился всегда, когда хотели удержать путы на чьей-либо совести... Русский народ оказался терпимее и выше тех клепов, которые на него систематически возводились (*голоса: браво, рукоплекскания*)».

Караулов выступил против поправки представителей Священного синода (озвученной в Думе епископом Евлогием) о том, что лицам, находящимся на действительной службе, в том числе военной, не дозволяется переходить из православной веры в другие вероисповедания: «Я не понимаю, как для христианина можно сказать, что святая святых человеческой души, союз этой души с Богом, к которому она стремится, союз ее с Творцом и Зиждителем вселенной, может быть отодвигаем на задний план техническими соображениями какой бы то ни было службы (*голоса: браво*)». Напротив, отметил Караулов, люди военного сословия, защитники государства, более чем кто-либо заслужили гарантии

свободы совести, ибо «они, чтобы предотвратить от государства опасность, должны стать лицом к лицу со смертью», и «нужно, чтобы эти люди были уверены в том, что их последние тяжелые минуты будут сопровождаться религиозным утешением той церкви, в которую они действительно веруют; с этой стороны удерживать их в церкви, от которой фактически душой они уже отпали, будет грехом, даже против боевой способности армии».

И на этот раз на стороне либерального законопроекта оказались не только конституционные демократы (в поддержку тезисов Караулова убедительно выступили П. Н. Милуков, В. А. Маклаков, Ф. И. Родичев), но и такие влиятельные «октябристы», как, например, М. Я. Капустин. 1 июня 1909 г. законопроект был принят «новым думским большинством», включая большую часть «октябристов».

Енисейский депутат против думских «черносотенцев»

Активная позиция Караулова как убежденного антиклерикала и либерала-христианина снискала ему славу одного из опаснейших противников для националистической части Думы и черносотенных сил в стране. Дело неоднократно доходило до прямых оскорблений Караулова с правых думских скамей, что затем становилось предметом широкого обсуждения в обществе. Так, 5 мая 1909 г. Караулов включился в дискуссию по вопросу о восстановлении политических прав лиц, лишенных священнического сана или оставивших духовный сан. В своей яркой антиклерикальной речи Караулов отметил: «Существует попытка самый церковный клир обратиться в крайнюю политическую партию и партию, для которой политическая терпимость и разборчивость в средствах не составляет характерной добродетели». Он привел пример из «Московских ведомостей», что в 1908 г. 32 епископа Русской православной церкви стояли во главе отделов «Союза русского народа». В этот момент волынский депутат, лидер житомирских черносотенцев П. В. Березовский (Березовский 2-й) с места громко крикнул Караулову: «Острожник!».

Караулов отпарировал: «Член Государственной думы Березовский 2-й назвал меня острожником. Я на такого рода замечания здесь не отвечаю (*бурные рукоплескания*). Я ни на одну секунду не могу забыть, что имею высокую честь в данную минуту говорить с трибуны русской Государственной думы (*рукоплескания центра и левой*), с высокой трибуны законодательной палаты моего Великого Отечества, а не за захватанным, засаленным столом чайной «Союза русского народа» (*продолжительные рукоплескания*)». Караулов отметил, что, игнорируя факты репрессий внутри православной иерархии, «мы лишаем всякой свободы внутренней ту часть духовенства, которая не имеет желания следовать политическому катехизису «Союза русского народа»». При этих словах уже екатеринославский депутат, активный черносотенец В. А. Образцов с места крикнул: «Каторжник!», но Караулов спокойно завершил свою речь: «Надо восстановить в правах всех тех лиц, которые покидают духовное звание».

Еще больший резонанс в общественных кругах имел инцидент, случившийся в Думе на вечернем заседании 18 мая 1910 г. при обсуждении вопроса о введении земств в западных губерниях. Когда Караулов, получив слово, вышел к трибуне, активный член «Союза русского народа» и «Союза Михаила Архангела», священник Александр Вераксин громко крикнул ему: «Каторга!». Караулов на этот раз дал развернутую ответь: «Да, почтенный отец, я каторга, и с бритой головой и с кандалами на ногах, я мерил бесконечную Владимировку за то, что смел желать и говорить о том, чтобы вы были собраны в этом собрании... То, что я был каторжным, составляет мою гордость на всю мою жизнь. В той могучей волне, которая вынесла вас в эту залу, есть капля моей крови и моих слез... и это дает мне повод оправдывать мое существование перед Богом и людьми (*взрыв аплодисментов*)». Один из товарищей Караулова по кадетской партии, Ф. И. Родичев, впоследствии вспоминал об этом эпизоде: «Мы живо помним ту минуту, когда лаятель по призванию и служитель Бога любви по ремеслу обозвал его (Караулова. — А.К.) грязным словом. Незабываемое зрелище. Вот они лицом к лицу: представитель России гонимой и представитель русских гонителей. Вот психология

тех, кому русская жизнь роковым образом уготовила каторгу. Вот национальное лицо тех, которые притязают властвовать над душами и телами... Кто победит?»

Следует добавить, что после окончания этой речи Караулова председательствовавший на заседании князь В. М. Волконский постарался объяснить депутатам, почему он сразу не отреагировал на оскорбительную реплику о Вераксина: «За то слово, которое было сказано справа члену Государственной думы Караулову, я не делаю замечания, ибо... на него ответил сам Караулов гораздо лучше, чем мог бы ответить я (*продолжительные рукоплескания*)».

В руководстве либеральной партии

Думская активность В. А. Караулова высоко подняла его авторитет в Конституционно-демократической партии: 15 ноября 1909 г. он был кооптирован в ее Центральный комитет. На состоявшемся в те же дни партийном совещании Караулов, на примере работы над Законом о старообрядчестве, показал коллегам преимущества «органической» парламентской работы: «Здесь несколько раз уже нас приглашали бросить органическую работу и сделать думскую трибуну местом для провозглашения чистых принципов. Еще во время существования Первой думы я был противником такой точки зрения; теперь, после трех лет работы в комиссиях, я лишь укрепился в своем мнении». Караулов рассказал, что по отношению к поступившему в Думу законопроект о правах старообрядчества перед кадетской фракцией «были два пути»: «Мы могли бы, не принимая участия в мелочной, детальной работе, ограничиться декларацией о безусловной свободе всякого исповедания, изложенной в трех строках: «старообрядцы свободны в своих делах»; но мы пошли другим путем и приняли за основание своих домогательств законопроект, выработанный самими старообрядцами». Караулов напомнил, что «старообрядцы, эта наиболее консервативная часть населения, накануне созыва III Думы чуть-чуть целиком не вошли в «Союз русского народа». Однако, в результате большой работы думских либералов над проектом закона о старообрядчестве, которая стала

известна всей стране, «мы добились того результата, что судьба законопроекта переводит 15 миллионов старообрядцев из правого лагеря в левый, перевоспитывает их политически»: «Сейчас уже старообрядцы и не пойдут в «Союз русского народа»; понемногу они делаются сторонниками конституционного строя, на практическом примере видя, что в государстве деспотическом нельзя добиться свободы, что от сторонников старого строя им нечего ждать. В борьбе за свои права они ищут себе союзников — и так завязываются у них связи с нами». Хотя некоторые участники кадетского совещания с некоторым скепсисом отнеслись к докладу Караулова, лидер партии П. Н. Милюков активно его поддержал: «Может быть, не все 15 миллионов старообрядцев перешли в оппозицию, а значительно меньше, но, во всяком случае, крупных результатов мы добились... Отсутствие у нас репутации деловых работников поставило бы крест и на наших агитационных попытках».

В защиту народного просвещения

20 октября 1910 г., менее чем за два месяца до кончины, В. А. Караулов выступил в думской дискуссии по проекту закона о начальных училищах, внесенного министром народного просвещения. Комиссия по народному образованию во главе с «октябристом» фон Анрепом предложила, чтобы все церковно-приходские школы, входящие в сеть всеобщего обучения, были переданы в ведение министерства народного просвещения и были подчинены уездным и губернским училищным советам. Думские националисты увидели в этом новое посягательство на православную церковь. Отвечая епископу Евлогию, заявившему, что подчинение церковных школ есть покушение на заповедь Христа, сказавшего ученикам: «Идите, научите все народы», В. А. Караулов заметил: «Да, Христос сказал это ученикам, и ученики, нищие галилейские рыбаки и сирийские ремесленники, пошли не в карете цугом в предшестве колокольного звона, а босиком, не в пышных одеждах из шелка, а в рубище, имея только Христово слово и непоколебимую веру в его силу. Они по-

шли и совершили историческое чудо: к стопам Господа и Учителя своего они повергли гордый Рим и принадлежащий ему тогдашний мир; они совершили это чудо не властью государства, которое их гнало, мучило и убивало, и власти от этого государства они не просили... Они знали, что церковь тогда только будет оказывать благотворное влияние на человеческое общество и разовьет всю свою духовную мощь, когда она будет церковью, а не ведомством».

В. А. Караулов выступил и на втором чтении законопроекта 26 ноября 1910 г. (за три недели до смерти). На этот раз он так охарактеризовал клерикалистскую часть церковной иерархии, тесно смыкающуюся с политическим черносотенством: «В этой среде идеал не жизнедеятельность общества, не жизнедеятельность народа, а тленное спокойствие могилы. Они довели до маразма церковь, и теперь они хотят привести в столь же блестящее положение и государство (*рукноплескания*)». Во время этого думского выступления черносотенцы так демонстративно шумели, что председательствующий сделал им несколько замечаний, на что черносотенец Пуришкевич нагло ответил: «Оратор нам мешает говорить».

Общественные интересы В. А. Караулова не ограничивались думской и партийной деятельностью. Он стал, например, активным членом Санкт-Петербургского Религиозно-философского общества, где сблизился с такими крупными интеллектуальными фигурами, как П. Б. Струве и Н. А. Бердяев. Его новые коллеги в свою очередь высоко ценили не только религиозно-философские убеждения Караулова, но и его уникальное умение претворять их в политическую жизнь. В статье, опубликованной в 1909 г. в «Русской мысли», П. Б. Струве призывал не смешивать два разнородных явления — «религиозность» и «клерикализм». «Достаточно некоторого знакомства с историей новейшего времени, — писал Струве, — чтобы видеть, что положительная религия и даже преданность церкви отнюдь не обязывает к тому, что между всеми политически образованными людьми признается за клерикализм». В качестве «яркого доказательства» этого тезиса Струве приводил в пример деятельность такого человека, как английский премьер-реформатор Уильям

Гладстон. «Но и у нас на глазах, кто в Государственной думе выступал в защиту противоклерикальных и истинно государственных проектов вероисповедной реформы? — задавался вопросом Струве. — Главным застрельщиком в этой борьбе был такой религиозный и преданный православный человек, как В. А. Караулов».

Конец жизни. Смерть. Похороны.

За несколько месяцев до смерти Караулова его важную общественно-политическую роль оценил и великий русский философ Николай Александрович Бердяев. В статье, опубликованной во влиятельной либеральной газете «Утро России», издаваемой старообрядцами Рябушинскими, Бердяев поставил Василия Караулова в один ряд с такими русскими религиозными мыслителями, как Федор Достоевский и Владимир Соловьев. Отмечая, что «вопрос о свободе совести — один из самых острых вопросов русской жизни, из тех вопросов, в которых дана точка пересечения внутренней жизни духа и внешней жизни общества», Бердяев напомнил о роли депутата В. А. Караулова в борьбе за свободу совести в России. «Борьба за свободу совести обычно ведется людьми, равнодушными к вере и церкви, и в этом случае борьба эта носит характер формальный, — заметил Бердяев. — Но следует как можно чаще напоминать, что свобода совести бесконечно дорога людям верующим и чувствующим себя в Церкви, что для них свобода совести есть религиозная святость... Свобода относится к содержанию религиозной веры, т.к. христианство есть религия свободы. Вот почему самая страстная защита религиозной свободы принадлежит по праву верующим христианам, — им дело это дорого по существу, а не формально. В Государственной думе особенно горячо защищал свободу совести Караулов — верующий христианин».

В середине декабря 1910 г. В. А. Караулов серьезно заболел пневмонией и 19 декабря скончался «от паралича сердца, вследствие крупозного воспаления легких». 21 декабря, в день похорон, рано утром в квартиру покойного пришел полицей-

ский пристав и в категоричной форме потребовал, чтобы ему показали все надписи на венках и лентах. Ввиду тесноты в квартире многочисленные венки были вынесены на лестницу и здесь тщательно осмотрены приставом, который, после некоторого раздумья, признал их допустимыми. Гроб вынесли на руках соратники Караулова по кадетской партии — Шингарев, Колобакин, Некрасов, Кутлер, Винавер. Учащаяся молодежь образовала вокруг гроба цепь; в начале одиннадцатого началось движение процессии к зданию Государственной думы. На Шпалерной, перед Таврическим дворцом, думское духовенство отслужило литию. Потом опять по Потемкинской, затем по Кировской и Знаменской улицам процессия двинулась в южную часть города, на Волково кладбище. Около одиннадцати часов пересекли Невский проспект. Корреспондент «Утра России» на следующее утро написал: «На тротуарах огромное количество публики. Все углы Лиговки, Пушкинской и Знаменской густо усеяны народом».

К полудню процессия достигла кладбища. По просьбе старообрядцев им была предоставлена возможность нести гроб. Приехал из Москвы А. И. Гучков, который в числе других друзей покойного выносил на руках гроб из кладбищенской церкви. Организаторы были заранее предупреждены о запрете говорить над могилой «речи политического характера»: видимо, власти помнили, в какую манифестацию превратились недавние похороны бывшего председателя I Думы С. А. Муромцева в Москве. Речь над могилой держал только близкий друг покойного — Н. В. Некрасов: «Дорогой Василий Андреевич! Уста наши заграждены. Мы не можем говорить о том, что мы знаем, что сам ты считал наиболее драгоценным в своей жизни и деятельности. Говорить обиняками невозможно у отверзтой могилы того, кто был вдохновенным проповедником вечной правды, и мы предпочитаем молчать... Сохраним же наши мысли о нем до того счастливого момента, когда, хороня своих друзей, мы сможем у их гроба свободно и смело давать оценку их личности и деятельности».

Через несколько дней после похорон в память о В. А. Караулове состоялось и специальное заседание Санкт-Петербургского Религиозно-философского общества (РФО), активным

участником заседаний которого он являлся. Известный философ и религиозный мыслитель А. А. Мейер вспоминал об этом заседании: «Для РФО этот человек был особенно дорог тем, что сумел в своей тонкой и чуткой душе совместить горячее и живое общественное чувство, заставившее его испытать все ужасы каторги, — с глубокой христианской религиозностью. Это было то сочетание, которое главные деятели общества, задававшие в нем тон, хотели видеть вообще в русской интеллигенции. Вечер в память Караулова снова подчеркнул, что РФО живет одной жизнью с русской интеллигенцией, но живет по-своему, не совпадая с нею, в ее все еще довольно упорном отчуждении от религии».

Некролог на смерть В. А. Караулова опубликовал в «Русской мысли» и другой лидер русского христианского либерализма — Петр Бернгардович Струве. «В этой замечательной фигуре образованного человека, верного церкви и церковной религии и страстно любившего политическую свободу и ее правовые формы, воплотилась одна из роковых загадок русской жизни. Не знаю, как и почему, но душа его одинаково тянулась и к традиции, и к революции, и к старине, и к новизне. Она страстно искала слияния старины с новизной, не по оппортунистическому расчету, не из тактики, а движимая глубочайшей эстетической потребностью, охватывавшей все существо этого человека... Вся его личность как будто спрашивала, возможен ли и как, какими путями, какой ценой, с какими жертвами воплотиться в русской жизни этот желанный синтез традиции и революции». Струве далее отметил, что «защита свободы совести со стороны Караулова, верного сына православной церкви, была для него не случайным и личным делом, а осуществлением личными силами великой исторической задачи — примирения веры и свободы. Вне такого примирения ему не мыслилась возможность прочного духовного и общественного развития русского народа и даже сама крепость русского государства».

П. Б. Струве очень точно обозначил два главных вопроса, которые всю жизнь волновали В. А. Караулова: «Может ли православная церковь так, как она исторически сложилась, со всем ее прошлым, принять свободу совести, освободиться от

цезаропапистской прикреплённости к государству, стать свободной и независимой церковной общиной, а не церковью-ведомством?» и «Может ли современное сознание, современная религиозность примириться с той церковно-догматической связанностью, которой отмечены все исторические церкви?». «Я не знаю, — закончил свою статью-некролог П. Б. Струве, — как отвечал самому себе Караулов на этот последний вопрос. Но я думаю, что чем менее догматичен и внутренне нетерпим человек, тем легче его религиозному сознанию, не отрываясь от той или иной исторической церкви, оставаясь, так сказать, в ее ограде, сохранить свою собственную религиозную индивидуальность. Такие люди, быть может, более чем фанатические приверженцы догматов, составляют истинную «соль» всякой церкви... И великое значение свободы совести и веротерпимости заключается в том, что только она позволяет церковным организациям, исторически сложившимся, удерживать в своей среде эту незаменимую драгоценную «соль», которая ищет любовного и достойного примирения между индивидуальной религиозностью и соборным благочестием, — примирения, одинаково далекого и от лицемерного расчета, и от догматического изуверства, и от мистической экзальтации. Таков был Караулов».

9 мая 1912 г. на могиле В. А. Караулова на Волковом кладбище в Санкт-Петербурге был установлен памятник. Первоначально, на гранитном постаменте под бронзовым бюстом были выбиты слова из известной думской речи Караулова: «Да, я был каторжником, с бритой головой и кандалами на ногах...». Однако петербургский градоначальник не разрешил открытие памятника с подобной надписью, и она была прикрыта железной доской...



**Михаил Александрович
Стахович:**
**«Правительство
систематически разрушало
все попытки общественных
организаций...»**

«Он был очень талантлив... Из него мог бы выйти крупный политик, но он за этим не гнался. Беспечный, жизнерадостный, он не искал популярности... Этот даровитейший человек так и прошел через жизнь, не выявив себя. Это часто бывало с такими, как он, талантливыми, но не целеустремленными русскими людьми», — так написала о Михаиле Стаховиче в своих мемуарах известная деятельница дореволюционной либеральной оппозиции Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс.

Вторит Тырковой в своих эмигрантских воспоминаниях и депутат II–IV Дум Василий Алексеевич Маклаков: «Перед ним (Стаховичем. — А.К.) была блестящая будущность, но карьера его не прельщала... Его разносторонность, жажда жизни во всех проявлениях (жизнь есть радость — говаривал он), избалованность (баловала его и судьба, и природа), вечные страстные увлечения и людьми, и вопросами в глазах поверхностных наблюдателей накладывали на него печать легкомыслия».

Слова Тырковой и Маклакова, при всей их человеческой точности, сегодня представляются уже не вполне исторически справедливыми. О «нереализованности» Стаховича можно, конечно, судить в чисто житейском смысле: он умер сравнительно нестарым, в 62 года (для сравнения: Маклаков и Тыркова дожили, соответственно, до 88 лет и 93 лет!). Если же говорить о политике, то тогда к «неудачникам» следует отнести все поколение первых российских парламентариев... Со временем, мне думается, верх возьмет принципиально иная интерпретация жизни и деятельности М.А. Стаховича

как одного из самых цельных политиков и мыслителей своей эпохи. Другое дело, что «время Стаховича», время открытой и нравственной политики в России еще не наступило. Когда оно все же наступит, парламентский опыт столетней давности депутата Михаила Стаховича станет, надо надеяться, предметом самого внимательного исследования.

В биографии Михаила Александровича Стаховича (1861–1923) случилось немало ярких событий, но были такие, которые, как он сам рассказал в своих эмигрантских мемуарах, на всю жизнь сформировали его взгляды и принципы. ...В тот год, когда умер Достоевский и был убит Александр II (1881), двадцатилетний Михаил Стахович учился в 11-м классе Училища правоведения в Петербурге. О смерти писателя на утренней лекции рассказал известный юрист Анатолий Федорович Кони, который затем прочел импровизированную лекцию о «Преступлении и наказании» Достоевского. Впоследствии М. А. Стахович много общался с А. Ф. Кони и даже заседал вместе с ним в Государственном совете, но ту растянувшуюся не на один час лекцию он навсегда запомнил. Метафизика преступления и наказания в России — вот что захватило в рассуждениях мэтра юриспруденции двадцатилетнего студента, который позднее, по свидетельству многих современников, сам поднял профессиональное ремесло правоведа до высот политического пророчества... Через два дня юный Стахович нес венок от Училища на похороны Достоевского.

...А 1 марта 1881 г. Михаилу Стаховичу чудесным образом удалось пробраться в Зимний дворец, где он, поплутав немного (позднее он, камергер двора, станет легко ориентироваться в царских резиденциях), оказался в «фонаре» — спальне Государя Императора, который, смертельно раненный бомбой террористов, в тот момент уже, исповедовавшись, отходил. Тогда в память юного Стаховича прочно впечаталось беспомощное выражение лица наследника... В конце жизни, выброшенный революцией из России, Стахович напишет об Александре III: «Теперь, стариком и удалившись от деятельности, но обдумывая все то, что я так близко знал, я прихожу к заключению, что фактическим виновником те-

перешнего ужаса, исходной его причиной является честнейший, чистейший и до самозабвения любивший Россию, может быть, самый русский из царей после Петра Великого — Александр III... Это был добрый и чистый человек... на службе и в обиходе всегда прямой, он, словом, мог бы громко и всенародно исповедоваться на Красной площади... Это был лучший и честнейший, нет, даже чистейший человек из 160 миллионов своих подданных. Но это был вреднейший царь, погубивший династию Романовых...».

Эти слова М. А. Стаховича ясно демонстрируют всю ограниченность досужих рассуждений о «либеральных славянофилах» (к которым, несомненно, принадлежал Стахович) как о политиках, приверженных идее лишь личного нравственного совершенствования в противовес совершенствованию политических институтов. Для Стаховича принципиальна не просто *человеческая*, а еще и *политическая нравственность* как способ адекватной реакции политика на общественные обстоятельства. В этом смысле *политическая безнравственность* Александра III не могла быть компенсирована никакими личными достоинствами. И наоборот, при всей своей неряшливости в личной жизни его отец Александр II в звездные часы своего реформаторства представлял собой образец высокой политической нравственности.

...Через несколько дней после убийства Александра II студент Михаил Стахович попал на публичную лекцию философа Владимира Сергеевича Соловьева в огромном зале санкт-петербургского «Кредитного общества». «Теперь, через 40 лет, я уже не припомню ее содержания, — написал в эмиграции Стахович. — Он говорил о переживаниях общественного духа за этот кошмарный месяц; об общем негодовании и возмущении перед отвратительным цареубийством; о подробностях, выясненных на суде; наконец, об ужасе этого ожидания пятиголовой казни. Не только красноречива и благородна была его речь, но она звучала какой-то строгостью и восторгом пророка, когда он доказывал, что казнь не искупит преступления, потому что греха нельзя заглазить наказанием, а превзойти его можно только милосердием и жалостью; чтобы действительно стать выше преступников,

надо... помиловать». Стахович запомнил тогда не столько конкретные слова Соловьева, сколько выражение лица оратора, общий вид переполненного зала и собственные переживания: «Мы были объединены все в это время и негодованием к царевубийцам, и горем о погибшем, всеми любимом Царе. Но Соловьев заразил нас, проник до самой глубины души нашей, заставил почувствовать, что есть правда сильнее всякого зла, выше всякого горя. Что и отдельный человек, и совокупность толпы, и целый народ могут к ней обратиться и по ней решить...».

С Владимиром Соловьевым Стахович позднее сошелся довольно близко, неоднократно лично выражал восхищение его сочинениями (особенно «Тремя разговорами»), но никогда тот не производил на него столь сильного впечатления, как в тот вечер в зале «Кредитного общества»: «Много я потом переживал сенсационных событий и сильных впечатлений, но никогда меня так не потрясла публичная речь, как эта...». Пройдет четверть века, и депутат Государственной думы М. А. Стахович будет тщетно призывать политически разделенную и тонущую в крови Россию к взаимному всепрощению...

В 1882 г. Михаил Стахович окончил Училище правоведения. Это был талантливый, но достаточно легко живущий юноша из богатой помещичьей семьи, смутно грезивший о будущем общественном призвании. «В наказание за сделанные в Правоведении две или три тысячи долгу, — вспоминал он, — отец приказал мне поступить на казенную службу, а не разрешил поселиться в Пальне (родовом имении Стаховичей под Ельцом. — А.К.). Я поехал в Ковно, где еще были дореформенные суды, и за 11 месяцев перебивал секретарем прокурора суда П. Н. Огарева, и.о. судебного следователя, потом и.о. товарища прокурора... Но в ноябре 1883 года отец меня простил и разрешил осуществление моей мечты — не служить, а быть общественным деятелем... Жить на людях и для людей». Со стороны отца было только одно условие: работать только «по выборам», то есть быть деятелем *избранным*, а не назначенным.

Отцовская педагогика, наряду с накапливаемым профессиональным опытом, а главное, постоянное самообразова-

ние давали свои плоды. В 1883–1892 гг. Михаил Стахович — елецкий уездный и орловский губернский земский гласный; в 1892 г. он стал елецким уездным предводителем дворянства, а в 1895 г., всего в 34 года, был избран орловским губернским предводителем.

На рубеже веков окончательно сформировались и общественно-политические взгляды М. Стаховича. Идеальным политическим порядком было для него время реформ Александра II. И главное здесь — не личные качества царя-Освободителя, а особый характер взаимоотношений власти и общества. «Правительство критиковали, но ему верили и, вечно споря, старались сговориться и помогать. Понимали инстинктивно, что бороться можно с правительством, а не с государством, которое должно охранять и которое не может обойтись без первого...». Но этот «общественный инстинкт» существовал не сам по себе, а подпитывался, в свою очередь, демонстрацией доверия власти к обществу. К несчастью для России, это состояние взаимной поддержки было утрачено в ходе последних двух царствований: «Ненависть к правительству распространилась на самое понятие государственной власти. Оппозиция была уже не тактическим приемом, а казалась самодовлеющей политической целью... обессилить их, свалить — хуже не бывает, мол... Умные предчувствовали, что может быть еще гораздо хуже; но сдерживать раздражение перед постоянным в течение 35 лет, систематичным и всесторонним преследованием всякого прогресса, перед постоянно демонстрируемым пренебрежением к общественному мнению, нуждам и желанию масс стало невозможным. Борьба перешла уже в войну и приобрела стихийный характер». При этом главная вина за углубляющийся общественный раскол лежала на правительстве: «Невозможность в будущем бороться со стихийным движением, все нарастающим в народе, создавало правительство». Подобная логика политического анализа — «фирменный» стиль либерала-государственника М. А. Стаховича: будучи сам представителем национальной элиты, он основную ответственность за русские неурядицы всегда возлагал на верхи общества, на «своих», а не на народ.

Основная тема политических размышлений Стаховича — вопрос о принципах и методах «правильного правления». Политическая нравственность власти состоит в умении содействовать развитию системы общественного самоуправления, ибо без самоуправления возможны только два состояния — полицейщина и анархия. Последние два российских императора, в силу своей «политической безнравственности», явно тяготели к полицейщине и, утешаясь иллюзией временного упорядочивания, ввергли в итоге страну в пучину анархии. «Управлять массами можно, только организовав их и доведя организацию постепенно до центра... Систематически в течение 35 лет правительство не разрешало и прямо разрушало все попытки общественных организаций, все равно, в какой бы ни было области: не только в политической, но хозяйственной, экономической, социальной, художественной, даже научной, даже религиозной... А путь от народа, общества к всемогущей власти не был постепенным, организованным, а иногда совсем пустым, но чаще полным с одной стороны подозрительностью, с другой — предубеждением, делающим сотрудничество страны и власти невозможным. Неорганизованная масса в 180 миллионов, как и всякая масса впрочем, может подчиняться только двум выражениям власти: или полиции, или анархии. Все промежуточное уже нуждается в организованности. 3/16 марта 1917 года с отречением Николая II рухнула полиция тогдашней России. *Tertium non datum* (третьего не дано. — *лат.*)».

Однако заключительный акт исторической драмы России начался задолго до отречения последнего царя — с убийства Александра II и с отказа Александра III подписать подготовленный отцом Манифест о введении выборного Государственного совета в качестве совещательного органа. «Это была умная и осторожная попытка повести Россию эволюционным путем к неизбежному в наше время представительному правлению, — говорил Стахович о не реализовавшихся планах Александра II. — Конечно, этот новый порядок привел бы постепенно до ограничения самодержавия, к конституции. Но именно в постепенности и заключался бы спаси-

тельный для народов путь неизбежной эволюции, а не отвратительный, при ее отсутствии, путь революции».

Пришедшая к власти после гибели царя-Освободителя группировка во главе с К. П. Победоносцевым, графом Д. А. Толстым, князем В. П. Мещерским и др. сформулировала и сумела привить новому царю «совершенно вымышленное обвинение всей России в грехе цареубийства»: «Ее объявили и виноватой, и больной, стали лечить строгим режимом реакции и стали пичкать все время такими сильнодействующими лекарствами, в которых она совсем не нуждалась, но от которых ее лихорадило все сильнее и сильнее... Этот эффект ненужного лечения выдавали за безошибочный диагноз опытных и любящих врачей и все усиливали дозы...». Безнравственность враждебного России курса правящей верхушки вынудила государственника М. А. Стаховича перейти в ряды либеральной оппозиции.

Всероссийскую известность губернский дворянский предводитель Стахович получил в 1901 г. в связи с прочитанным им 24 сентября на Миссионерском съезде в Орле докладом о свободе совести, где он открыто высказал свое неприятие распространенной практики религиозного принуждения и дискриминации иноверцев. Стахович в полемической форме постарался защитить идею, что никакое насилие не способно вызвать любовь к Богу и лишь полная свобода вероисповедания может благотворно содействовать популяризации и распространению православия. «Меня спросят, — говорил Стахович, — чего же вы хотите? Разрешения не только безнаказанного отпадения от православия, но и права безнаказанного исповедания своей веры, то есть совращения других? Это подразумевается под свободой совести? Особенно уверенно среди вас, миссионеров, я отвечу: да, только это и называется свободой совести... Запретной пусть будет не вера, а дела; не чувства, а поступки, ущербы, изверство — все то, что уголовный закон карает...».

Речь М. А. Стаховича, поначалу опубликованная в «Орловском вестнике», была затем перепечатана в столичных «Санкт-Петербургских ведомостях», «Московском обозрении», «Миссионерском обозрении» и т.д. Живший тогда во

Флоренции известный театральный деятель князь Сергей Михайлович Волконский заметил сначала ссылки на речь Стаховича в иностранной прессе, а затем уже начал собирать все связанные с ней материалы. В своих мемуарах С. М. Волконский вспоминал: «Его речь прокатилась из конца в конец земли русской; она произвела впечатление бомбы... Буря, поднявшаяся вокруг этой речи, длилась более двух месяцев и, к сожалению, утихла, прекращенная цензурными распоряжениями».

В развернувшейся тогда в России дискуссии приняли участие такие выдающиеся деятели, как Л. Н. Толстой, Д. С. Мережковский, Н. Ф. Федоров, Н. А. Бердяев. Активно выступил против Стаховича протоиерей Иоанн Кронштадтский: «В наше лукавое время появились хулители святой церкви, как граф Толстой, а в недавнее время некто Стахович, которые дерзнули явно поносить учение нашей святой веры и нашей церкви, требуя свободного перехода из нашей веры и церкви в какие угодно веры... Нет, невозможно предоставить человека собственной свободе совести, потому что он существо падшее и растленное...».

Речь Стаховича использовал против него и небезызвестный С. А. Нилус (впоследствии издатель «Протоколов сионских мудрецов») — орловский помещик, выпускник юридического факультета Московского университета, ярый черносотенец, давно выбравший либерала Стаховича мишенью для своих нападок. Еще в 1899 г. Нилус публично обвинил Стаховича, своего соседа по имению, в «безверии»; неоднократно выступал он и против всех либеральных земцев, «бессознательно играющих в руку единственно искреннему космополиту — еврею и родному его брату, армянину». Критикуя речь Стаховича на миссионерском съезде, Нилус на страницах «Московских ведомостей» назвал его «российским Дантоном или Робеспьером».

Свое сложное отношение к речи Стаховича высказал и философ В. В. Розанов: «Речь г. Стаховича, может быть независимо от прямого намерения оратора, забрасывает семена нравственной подозрительности на деятелей миссии. “Вы притеснители, а не христиане”, — говорит смысл его слов.

Речь его была только по виду предложением, а на самом деле она была судом и осуждением». Впрочем, В. В. Розанов не мог не признать, что в словах Стаховича «есть своя правда», и выразил уверенность, что «лучшие пожелания г. Стаховича исполнятся: но исполнятся в созидательных целях, в целях религиозного строительства».

В начале века М. А. Стахович становится активным деятелем общероссийского либерального движения, непременным участником земских совещаний и съездов. В 1902 г. он, губернский предводитель, носящий высокий чин камергера императорского двора (с 1899 г.), получил за свою оппозиционную активность на этом поприще «высочайший выговор». Вместе с тем в намечающемся размежевании русского либерализма на радикальное и умеренное крылья Стахович стал одним из лидеров «умеренных» — вместе с Д. Н. Шиповым, графом П. А. Гейденом, князем Н. С. Волконским. Он отрицательно относился к радикализму эмигрантского журнала «Освобождение» во главе с П. Б. Струве, к излишней, по его мнению, политизации либерального кружка «Беседа», единственно возможную программу которого определял как «борьбу с бюрократизмом во имя поднятия принципа самодержавия».

В 1904 г. в журнале «Право» была напечатана сильная статья М. А. Стаховича (ранее запрещенная цензурой в «Орловском вестнике») по поводу нанесения полицией Орла смертельного увечья ни в чем не повинному мусульманину-сарту, направлявшемуся в Мекку. За эту статью номер «Права» был конфискован, а статья вышла в заграничном «Освобождении». Ответом на нее стала публикация в официозном «Гражданине» князя В. П. Мещерского — одного из самых влиятельных идеологов России. Еще при жизни Александра II князь публично объявил своей целью «поставить точку реформам», после чего наследник-цесаревич Александр Александрович был вынужден разорвать с ним отношения. Однако после воцарения Александра III эти отношения были не только восстановлены, но и еще более укрепились. Мещерский сохранил позиции и при Николае II: именно его влиянию приписывалось назначение министром внутренних дел

реакционера В. К. Плеве после убийства в мае 1902 г. его предшественника на этом посту Д. С. Сипягина.

В своей статье в «Гражданине» князь В. П. Мещерский обвинил М. А. Стаховича в намерении «бросить обвинительную тень на административную власть» и в «сотрудничестве с революцией». Он нашел в статье Стаховича «оскорбление патриотизма, почти равное писанию сочувственных телеграмм японскому правительству»: в условиях войны с Японией это обвинение выглядело особенно сильным. Вопрос стоял принципиально, и группа молодых правоведов-либералов решила нанести контрудар по князю Мещерскому, подав на него в суд за клевету. В заседании Петербургского окружного суда 22 ноября 1904 г. интересы Стаховича (который был в то время на маньчжурском участке военных действий во главе санитарного отряда от орловского дворянства) защищали мэтр русской адвокатуры Федор Никифорович Плевако и ее восходящая звезда Василий Алексеевич Маклаков, товарищ Стаховича по либеральным кружкам и совместным «паломничествам» в Ясную Поляну к Льву Толстому.

В своем выступлении Ф. Н. Плевако не стал делать акцент на юридической стороне дела: он произнес яркую политическую речь, ставшую обвинением князя Мещерского не столько в клевете на Стаховича, сколько в «извращенном понимании патриотизма». Напомнив суду, что Мещерский упрекнул Стаховича в «сочувствии японцам», Плевако заявил: «За это отрицание в Стаховиче права быть русским и любить более всего на свете свое князю Мещерскому отомстила судьба, и как отомстила! Многие русские люди пошли на японскую войну добровольцами. И что же: имени патриота князя Владимира Петровича Мещерского мы не находим там... Но среди святых граждан и гражданок страны внесено имя Михаила Стаховича...». Плевако так завершил свою блестящую речь: «Нет, сколько бы ни исписал бумаги князь, не краснеющий и бесстрашный, он не докажет честно мыслящим русским людям, что нежелательны Стаховичи и нужны только Мещерские. Довольно с нас и одного Мещерского, дай Бог побольше таких людей, как Стахович! Тогда мы встретим их и на ратном поле, умирающими за родину, и в

лазарете, утоляющими раны и боли мучеников, и в мужах совета, говорящими смелую правду».

Речь Плевако в поддержку Стаховича стала одной из вершин его адвокатской карьеры и вошла во многие хрестоматии по ораторскому искусству. Судя по всему, она сыграла определенную роль и в жизни самого Ф. Н. Плевако: увлекшись оппозиционной политикой, он вступил вскоре в партию «октябристов», от которой был избран по Москве в III Государственную думу. Парламентарием, однако, он был очень недолго, ибо в декабре 1908 г. скоропостижно скончался.

В результате нашумевшего процесса «Стахович против Мещерского» либеральная общественность получила полное удовлетворение: влиятельный реакционер и личный конфидент императора был осужден за клевету к двухнедельному аресту на гауптвахте. Правда, через некоторое время, после того как высшая власть несколько опомнилась, более высокая инстанция оправдала князя.

Всероссийская популярность общественного деятеля М. А. Стаховича была в первые годы нового века настолько велика, что в революционном 1905 году в верхах обсуждался вопрос о его привлечении на крупную правительственную должность в «кабинете общественного доверия». В числе других умеренных либералов (Д. Н. Шипова, А. И. Гучкова, князя Е. Н. Трубецкого, князя С. Д. Урусова) с ним вел переговоры премьер-министр граф С. Ю. Витте, который потом вспоминал: «Стаховича я ранее порядочно знал. Это очень образованный человек, в полном смысле *gentilhomme* (благородный человек. — *фр.*), весьма талантливый, прекрасного сердца и души, но человек увлекающийся и легкомысленный русской легкомысленностью, порядочный жуир. Во всяком случае, это во всех отношениях чистый человек...». Судя по всему, Витте приглашал Стаховича больше в качестве надежного посредника для контактов с другими, более интересовавшими его фигурами, нежели для предложения солидного поста самому Стаховичу. Последний, скорее всего, и сам понимал это: будучи уверенным в своей победе на уже объявленных выборах в I Думу, Стахович отклонил предложение войти в правительство.

Активную роль сыграл М. А. Стахович на первом Всероссийском съезде партии «Союз 17 октября», состоявшемся в театральном зале московского «Охотничьего клуба» 8–12 февраля 1906 г. В первый день съезда лидер «октябристов» А. И. Гучков произнес характерные слова: «В наших рядах мы имеем таких видных общественных деятелей, как Д. Н. Шипов, М. А. Стахович (*бурные аплодисменты*). Д. Н. Шипов одним из первых начал борьбу с правительством за право участия народа в законодательной деятельности; М. А. Стахович первым возвысил голос за свободу совести. А это было еще в то время, когда и говорить о таких предметах, и аплодировать — так, как вы сейчас аплодируете, — было не так удобно и безопасно. Вы помните, какими репрессиями встречало правительство самые робкие попытки протеста против своего неограниченного самовластия...».

9 февраля 1906 г. М. А. Стахович сделал на съезде доклад от имени ЦК партии по вопросу об отношении «Союза 17 октября» к внутренней политике правительства, который произвел сильнейшее впечатление на слушателей. На следующее утро в газетном отчете было сказано: «М. А. Стахович вместо обычного сухого доклада всех российских съездов и заседаний произносит горячую проникновенную речь, электризирующую все собрание». А один из выступивших после Стаховича делегатов сказал: «Мы слышали из уст М. А. Стаховича не речь оратора, но апостольскую проповедь».

Доклад М. А. Стаховича был построен на доказательстве внешне парадоксальной, но глубоко выношенной им идеи: существующий в России внеправовой «приказный строй» разрушает подлинную государственность. «Унижения и позор на Дальнем Востоке, революционные движения и аграрные беспорядки внутри России, разоряющие ее благосостояние забастовки, — утверждал Стахович, — все это результаты преступной деятельности отжившего приказного строя. Во всем этом нельзя не видеть ослабления государственной власти». Вопреки как реакционерам-охранителям, так и революционерам-разрушителям, Стахович защищал тезис о необходимости правового укрепления государственной власти: «Я говорю не о той власти, которая без суда и следствия вы-

сылает, арестует и гноит в тюрьме тысячи и десятки тысяч людей и возмущает и душит всю страну своими насилиями и произволом, вызывая общее раздражение и негодование... Нет! Я говорю о той государственной власти, которая составляет оплот государству — этому огромному корпусу, соединяющему в себе столько противоречивых требований и стремлений. Я говорю о той твердой власти, которая не только не дает опрокинуться государственному судну, но и предотвращает его излишнюю качку. И отсутствию этой власти мы во многом обязаны проявлениями всевозможных бесчинств, насилий и беззаконий, имеющих место за последнее время. Весь пережитый нами период революции есть прямое последствие ослабления в России авторитета государственной власти».

Ослабляет государство, по мнению Стаховича, и затягивание правительством созыва народного представительства: «Правительство обязано было подчиниться воле Государя о скорейшем созыве Думы. Плохая, несовершенная Дума, но должна была быть созвана немедленно». Стахович отменил отговорки членов кабинета министров, что дарованные царем свободы не могут быть осуществлены до тех пор, пока не прекратится революционное движение, — напротив, неправовые репрессии сами провоцируют смуту: «Мы понимаем, что вооруженное восстание нельзя подавить увещеваниями и лекциями, что его можно подавить только вооруженной силой... Но, водворив порядок, правительство обязано тотчас же, немедля прекратить всякое насилие, к которому вынуждено было прибегнуть, нарушив тем самым священные основы гражданской и политической жизни страны. После подавления вооруженного восстания насилие со стороны правительства не находит себе никаких оправданий. А между тем мы видим, что необузданный произвол и насилия со стороны правительства продолжают повсеместно, где не было даже никакого вооруженного восстания. Мы видим, что к революционерам причисляются миллионы русских граждан, что правительство хочет осилить всю Россию, недовольную его незаконной деятельностью и протестующую против произвола и насилий с его стороны. И, видя все это,

мы должны сказать правительству: после Манифеста 17-го октября вы не смеете делать этого! Вы не смеете посягать на наши свободы и стараться снова водворить тот порядок, который был главной причиной всех наших зол и несчастий!».

Особенно поразила присутствующих концовка речи Стаховича: «Правительство само расшатывает и как бы хочет опрокинуть весь государственный строй. Оно само готовит себе гибель. Но за этой гибелью может последовать гибель династии и гибель всей России!» В газетном отчете потом говорилось: «Гром аплодисментов прерывает оратора, и М. А. Стахович долго стоит с опущенной головой, ожидая восстановления тишины в зале». А после того как Стаховичем был зачитан проект предлагаемой октябристским ЦК резолюции, отчет фиксирует: «После долго не смолкавших аплодисментов записалось около 30 делегатов, желающих говорить по существу доклада».

Весной 1906 г. М. А. Стахович был избран депутатом I Государственной думы от землевладельцев Орловской губернии. Эта Дума, прозванная современниками «Думой народного гнева», отличалась практическим отсутствием представителей проправительственного лагеря. Оппозиционер и либерал Стахович парадоксальным образом оказался в ней на самом правом фланге в составе немногочисленной группы «умеренных». Впоследствии В. А. Маклаков, ставший одним из самых проникательных аналитиков истории Первой думы, написал: «На правых скамьях, на которых мы видели позднее Пуришкевича, Маркова, Замысловского, сидели такие заслуженные деятели “Освободительного движения”, как гр. Гейден или Стахович. Они сами не изменились ни в чем, но очутились во главе оппозиции справа. Эта правая оппозиция в I Думе выражала подлинное либеральное направление; именно она могла бы безболезненно укрепить в России конституционный порядок».

В. А. Маклаков, как представляется, достаточно точно описал самоощущение Михаила Стаховича в I Думе: «”Стиль 1-й Думы”, ее нетерпеливость, нетерпимость, несправедливость к противникам, грубость, вытекавшая из сознания безнаказанности, — словом, все то, что многих

пленяло как “революционная атмосфера”, оскорбляло не только его политическое понимание, но и эстетическое чувство». Атмосфере этой он не поддался и потому стал с нею бороться. У него не было кропотливой настойчивости, как у Гейдена; он был человеком порывов, больших парламентских дней, а не повседневной работы. Но в защите либеральных идей против их искажения слева он мог подниматься до вдохновения. Напоминавший бородой и лицом микельанджеловского Моисея, когда он говорил, он не думал о красноречии; речь его не была свободна, он подыскивал подходящие слова, но увлекал трепетом страсти».

Действительно, с одной стороны, М. А. Стахович не мог не понимать всю заведомую тщетность усилий их малочисленной группы противостоять общему течению. Но, с другой стороны, свою борьбу с думскими радикалами он воспринимал как нравственный долг. Эта борьба виделась ему продолжением дискуссий на земских съездах: ведь он и там в последние годы все чаще оказывался в меньшинстве. Здесь, в Первой думе, в составе самой влиятельной кадетской фракции было много его старых соратников — их, как он считал, еще можно было в чем-то переубедить. Что ему явно претило, так это то, что старые товарищи-земцы, элита страны, пошли, как он считал, на поводу у радикалов.

В историю I Думы М. А. Стахович вошел как основной оратор «умеренных» по таким ключевым вопросам, как отношение к политической амнистии и террору. Еще в первый день работы Думы, 27 апреля 1906 г., тема амнистии всех осужденных за антиправительственные выступления выдвинулась на самый первый план. Современники отметили то эмоциональное значение, которое имел проезд депутатов (принятых сначала в Зимнем дворце императором) на кораблях по Неве к Таврическому дворцу. Тогда депутаты проплыли мимо печально известных «Крестов», и из всех распахнутых окон узники приветствовали их криками «Амнистия!». Подобная обстановка царил и во всем городе. Член кадетского ЦК А. А. Кизеветтер вспоминал: «Я ходил по улицам и видел густые шпалеры народа на всем пути следования депутатов. Громовые приветственные крики оглаша-

ли воздух, и все чаще выделялись из этих криков возгласы: «Амнистия, амнистия!»».

Уже при открытии Думы избранный председателем С. А. Муромцев, еще до своей официальной речи, предоставил слово лидеру кадетской фракции И. И. Петрункевичу, который с места заявил: «Долг нашей совести заставляет нас употребить все усилия, которые дает нам наше положение, чтобы свобода, которую покупает себе Россия, не стоила больше никаких жертв! (*продолжительные аплодисменты*)». Многие исследователи пытались позднее проникнуть в глубинные мотивы этой речи «кадетского патриарха» (на первый взгляд, спонтанной, но на самом деле хорошо спланированной), положившей начало принципиальнейшей думской дискуссии, в которой одну из главных ролей суждено было сыграть орловскому депутату М. А. Стаховичу.

Влиятельный кадетский депутат Ф. И. Родичев в своих мемуарах так объяснил первое думское выступление И. И. Петрункевича: «То было нарушение всех парламентских обычаев... Но на бурю было пролито масло. Депутаты успокоились, взрыва не последовало...». В самом деле, положение в I Думе добившейся большого успеха на выборах Конституционно-демократической партии было очень сложным. В условиях по сути продолжающейся в стране революции кадетам необходимо было, с одной стороны, удержать свой принципиальный конституционализм, сохраняя перспективу диалога со ставшим теперь конституционным монархом, а с другой стороны, не отдать политическую инициативу в руки своих более радикальных левых «попутчиков» из т.н. «трудовой группы». Думскую линию кадетов во многом определял тезис их партийного лидера П. Н. Милюкова (разделяемый лидерами фракции И. И. Петрункевичем и М. М. Винавеном): «*Идти соединением либеральной тактики с революционной угрозой*».

Существуют документальные подтверждения (мемуары И. В. Гессена, например), что сама конфигурация руководства Думы была продумана кадетами таким образом, чтобы наилучшим образом реализовать «милюковскую тактику». На пост председателя был выдвинут импозантный и рассу-

дительный московский профессор С. А. Муромцев, а не радикал И. И. Петрункевич, несомненно заслуживший это право, но раздражавший императорский двор. В то же время вместо намеченного на пост одного из товарищей (заместителей) председателя В. Д. Набокова Думе был предложен в итоге гораздо менее влиятельный в партии Н. А. Гредескул, имевший перед Набоковым только одно «преимущество» — опыт тюрьмы и ссылки, создававший ему ореол жертвы режима среди думских «левых». Именно Гредескула, только что триумфально освобожденного из архангельской ссылки, кадетская фракция выпускала всякий раз, когда надо было «гасить» экстремистские предложения радикалов из «трудовой группы» — С. В. Аникина, И. В. Жилкина, А. Ф. Аладьина, говоривших смело, но, к их досаде, не имевших опыта царских тюрем.

Именно так произошло, например, на первом же заседании Думы, когда Н. А. Гредескул (вместе с другими кадетами — Г. Ф. Шершеневичем и Ф. Ф. Кокошкиным) сумел убедить «левых» отказаться от немедленного требования всеобщей амнистии и включить его в готовящийся ответный адрес Думы на тронную речь императора. Гредескул тогда долго и ярко рассказывал, как он, будучи еще совсем недавно в царских застенках, безуспешно ждал, вместе с другими заключенными, политической амнистии...

Вопрос об амнистии во весь рост встал на следующем заседании — 29 апреля. Конституционные демократы понимали, что им снова потребуется переигрывать радикалов, и С. А. Муромцев (формально вышедший из кадетской партии, но сохраняющий с ней полное взаимопонимание) предоставил право первого, самого выигрышного выступления своему единомышленнику Ф. И. Родичеву. Задача последнего была непростой: требовалось накрепко связать в глазах российской общественности идею политической амнистии с собственной, кадетской партией и в то же время предложить такие формулировки, которые оказались бы приемлемыми для монарха. Тонкий политик и блестящий оратор Родичев вполне с этой задачей справился: «Амнистия и помилование — это прерогативы Монарха, и наше заявление есть

заявление потребности, заявление страданий всего народа, обращенное к Монарху... Пока еще есть время высказать желание амнистии, выскажемте же его в форме желания. Быть может, через несколько дней будет поздно, и оно будет выражено в форме требования...». И, фактически обращаясь уже к монарху, Родичев добавил: «Кто думает, что амнистия дает санкцию на преступление, тот заблуждается... Если Вы желаете уничтожить ту ненависть, которая в настоящее время горит ярким пламенем с той и другой стороны — возьмите на себя почин и щедрою рукой дайте всепрощение. Это акт высшей политической мудрости... Это всепрощение да послужит залогом того, что в начавшейся работе Монарх пойдет рука об руку с народом».

Однако после этого вполне разумного и взвешенного выступления в бой ринулись радикалы-трудовики. С. В. Аникин: «Я не буду говорить о милосердии, я буду говорить о справедливости...». А. Ф. Аладьин: «За нами страна — и город и деревня стоят за нами и пойдут за нами. Наши братья в тюрьмах, в ссылке, на каторге могут быть уверены, что мы сами возьмем их оттуда, а если нет... (*голоса: довольно!*)». И. В. Жилкин: «Я мирный человек, я слабый человек, но всем сердцем, всей душой я чувствую, что, к великому ужасу, к великому огорчению, время просьб прошло, и прошло безвозвратно... Если требования не будут удовлетворены — мы, может быть, уйдем отсюда, отойдем, может быть, в сторону, но пусть тогда народ встанет лицом к лицу с теми, которые не удовлетворили наших требований...» и т.д.

Трудовики были талантливыми ораторами. Деланная рассудительность Аникина, угрозы Аладьи, кликушество Жилкина захватили аудиторию, но — главное — могли произвести впечатление на страну, внимательно следящую за событиями в Думе. Инициатива могла уйти к крайне левым — и кадеты решили ее срочно вернуть. И они снова предъявили свой «козырь» — недавнюю жертву режима Н. А. Гредескула. Тот, опытный правовед и судебный оратор, виртуозно взял под свое «профессорское покровительство» самого радикального из выступивших трудовиков — Аладьи: «Хотя то заявление, которое было сделано здесь одним из предыду-

щих ораторов, а именно Аладьиным, встретило неудовольствие с некоторых сторон, но если его рассмотреть глубже и вдуматься объективно, то это заявление окажется вполне справедливым. В самом деле, что сказал Аладьин? Он сказал, что если те, кто теперь томится в неволе, кто страдает за дело освобождения, если они не будут освобождены в порядке справедливости или милости, то они будут освобождены самим народом. Это дело чести для русского народа... Я не знаю, может быть, депутат Аладьин облек это заявление в неправильную форму... Его заявление имело форму угрозы, вызова, а мне кажется, что наше положение по вопросу об амнистии слишком серьезно, чтобы нужно было делать вызовы и произносить угрозы (*аплодисменты*)».

И далее Гредескул выдвинул «компромиссное предложение»: «Необходимо достигнуть в этом вопросе того единения, о котором взывал Родичев. Если для достижения этого мы должны облечь наше обращение в форму просьбы о милости, то я ничего не имею и против этого. Мы должны только помнить, что если в форме милости русскому народу это не будет дано, то депутат Аладьин окажется прав. Народ добьется амнистии в том порядке, в каком он сам захочет...».

Кадеты, как видим, и в этот раз тактически выиграли, направив своеобразное послание общественности: мы, в отличие от трудовиков, — разумные политики, контролирующие в Думе своих нетерпеливых союзников. Сигнал был послан и власти: имейте дело с нами — иначе будете иметь дело с неуправляемыми и безответственными радикалами.

Историки I Думы из числа кадетов (М. М. Винавер, Н. Ф. Езерский и прежде всего сам П. Н. Милюков) потом не раз писали о том, что формы тактического взаимодействия кадетов и трудовиков согласовывались на предварительных совместных совещаниях лидеров, что роли были заранее распределены, что существовало своего рода «разделение труда». Милюкову, по-видимому, казалось тогда, что успешно реализуется его собственная формула, которую он любил повторять: «Мы играем на сцене, а шум за сценой создают другие...». Похоже, однако, что со временем этот симбиоз конституционалистов и радикалов зашел значительно глуб-

же, нежели того поначалу хотелось кадетам. Об этом впоследствии и написал в эмиграции В. А. Маклаков, который пришел к выводу, что тактический альянс, на первых порах казавшийся кадетам выгодным, постепенно вылился в стратегию, где тон стали задавать уже радикалы. Окончательное складывание этого теперь уже «стратегического союза» В. А. Маклаков отнес к тем двум заседаниям Думы, где с принципиальными поправками к проекту ответного адреса императору выступил депутат-октябрист Михаил Александрович Стахович.

Он включился в обсуждение проекта на заседании 3 мая 1906 г. Его, профессионального правоведа, обеспокоила сама нервическая атмосфера, в которой проходила дискуссия: «Часто случается, бывают даже целые периоды государственной жизни, когда не сущность вопроса царит и решает дело в палатах, а возбуждение политических страстей. Самое присутствие такого возбуждения является даже опасностью. Оно опасно, как оружие в руках рассерженного...». Отталкиваясь от метафоры кадетского депутата Е. Н. Щепкина, который сравнил поток свободных речей в Думе с «вешними водами», Стахович иронически заметил: «Пользуясь его собственным сравнением, добавляю, что вся эта вода не рабочая; ее не надо пускать на колеса мельницы. Умный мельник открыл бы затворы и терпеливо бы ждал: пусть себе сольет...». Вопреки радикальным призывам о необходимости немедленного подчинения министров народному представительству, Стахович назвал такую претензию «преждевременной»: «Мы только свяжем руки Государю, если, как лояльный конституционный Монарх, он будет следовать нашим голосованиям и менять министерства после каждого провала... Необходимо, сохранив ответственность министров перед Государем Императором, развить и ускорить условия осуществления права запроса и контроля со стороны Думы не только над закономерностью, но и целесообразностью действий министров» (*слышно шиканье на многих скамьях*).

4 мая дискуссия была продолжена — в этот день обсуждались в основном те положения ответного адреса, где речь шла о проблемах амнистии, смертной казни, о политических убийствах. В середине жаркой дискуссии слово опять попро-

сил М. А. Стахович: «Я оговорюсь, что живу в такой глухой и благоразумной местности, в которой теперь, несмотря на все здесь говоримое, люди, наверное, не бросили своей обычной жизни и занятий, не перестали метать пары, сеять гречиху и просо и не ждут, затаив дыхание, будут ли женщины в Государственной думе, останется ли Государственный совет или нет...». Перейдя непосредственно к вопросу о политической амнистии, Стахович еще раз подтвердил, что он и его коллеги по группе «умеренных» по-прежнему горячо поддерживают призыв к освобождению всех политических заключенных. Однако, добавил он, для полного успеха этого судьбоносного акта Дума должна одновременно выступить и с резким осуждением революционного террора: «Кроме почти на существует ответственность за последствия, и эта вся ответственность останется на Государе... Не мы уже, а он ответит Богу за всякого замученного в застенке, но и за всякого застреленного в переулке. Поэтому я понимаю, что он задумается и не так стремительно, как мы, движимые одним великодушием, принимает свои решения. И еще понимаю, что надо помочь ему принять этот ответ. Надо сказать ему, что прошлая вражда была ужасна таким бесправием и долгой жестокостью, что доводила людей до забвения закона, доводила совесть до забвения жалости... Цель амнистии... — это будущий мир в России. Надо непременно досказать, что в этом Государственная дума будет своему Государю порукой и опорой. С прошлым бесправием должно сгинуть преступление как средство борьбы и спора. Больше никто не смеет тягаться кровью. Пусть отныне все живут, управляют и добиваются своего или общественного права не силой, а по закону. По обновленному русскому закону, в котором мы и участники, и ревнители, и по старому закону Божию, который прогремел 4000 лет тому назад и сказал всем людям и навсегда — Не убий!»

В. А. Маклаков позднее вспоминал: «В Первой думе было сказано много превосходных речей. Но я не знаю другой, которая могла бы по глубине и подъему с нею сравниться... Колесания Государя, о которых говорил Стахович, не были только предположением. Он мне рассказывал после, что, ко-

гда начался в Думе разговор об амнистии, Государь получал множество телеграмм с протестами и упреками: неужели он допустит амнистию и помилует тех, кто убивал его верных слуг и помощников? Пусть эти телеграммы фабриковались в «Союзе истинно русских людей», Государь принимал их всерьез. Чтоб вопреки этим протестам Государь все-таки пошел на амнистию, нужно было сказать действительно новое слово, открывавшее возможность забвения, нужно было самому подняться над прежнею злобою. Этим словом и могло быть моральное осуждение террора. Но на это Дума не оказалась способна. Она продолжала войну».

Итак, на том историческом заседании 4 мая 1906 г. Михаил Стахович, наряду с призывом к амнистии, предложил Думе добавить в ответный адрес Государю следующие слова: «Государственная дума выражает твердую надежду, что ныне, с установлением конституционного строя, прекратятся политические убийства и другие насильственные действия, которым Дума высказывает самое решительное осуждение, считая их оскорблением нравственного чувства народа и самой идеи народного представительства. Дума заявляет, что она твердо и зорко будет стоять на страже прав народных и защитит неприкосновенность всех граждан от всякого произвола и насилия, откуда бы они ни исходили».

Предложение Стаховича было не только разумным, но и весьма умеренным — оно исходило из старой его идеи о необходимости восстановления взаимного доверия царя-реформатора и народного представительства. Однако в «Думе народного гнева» это предложение вызвало большое возбуждение. Правда, первым после Стаховича выступил депутат, назвавшийся его «союзником» — виленский епископ, барон Э. Ю. фон дер Ропп. Он поддержал тезис о необходимости учитывать сложное положение монарха, но перенес суть вопроса в религиозную плоскость, слабо воспринимаемую радикальным крылом Думы, и тем самым резко ухудшил шансы на прохождение поправки Стаховича. Политическую речь Стаховича, внешне похожую на проповедь, епископ принял за проповедь как таковую, чем намного облегчил задачу оппонентов.

Влиятельнейшая в Думе фракция конституционных демократов оказалась перед сложным выбором. Маклаков назвал его позднее «выбором между двумя возможными думскими большинствами» — конституционным и революционным. Первым из кадетов против поправки Стаховича выступил петербургский депутат, профессор А. С. Ломшаков, который однозначно заявил, что «вся ответственность за все преступления, о которых здесь было сказано, лежит всецело и полностью на правительстве». Правда, профессор не принадлежал к числу кадетских руководителей, и у фракции еще оставался выбор...

Дело решил Ф. И. Родичев, ставший еще с первых думских заседаний штатным спикером кадетов по вопросу об амнистии и терроре. Заявив, что вполне понимает тот «душевный порыв, который внушил Стаховичу благородные слова любви», Родичев быстро перешел к возражениям: «Но с политическим заключением этого порыва я согласиться не могу. Если бы здесь была кафедра проповедника, если бы это была церковная кафедра, то тогда, конечно, мог бы и должен был раздаваться призыв такого рода, как мы услышали здесь, но мы — законодатели, господа... Много есть дурных вещей, которые следует осуждать, но не здесь этому осуждению место. Мы осуждаем те порядки, когда людей казнят без суда... Мы должны сказать всем: если вы хотите бороться с преступлением, оно должно быть осуждено!». Затем против поправки Стаховича выступили и другие влиятельные кадеты.

Позднее В. А. Маклаков так прокомментировал этот «крах думского конституционализма»: «Всего грустнее читать речь Родичева... Из государственного установления Дума превращала себя в орудие революционной стихии. Голосование по поправке Стаховича вырыло ров между двумя большинствами. Если бы кадеты пошли со Стаховичем и Родичев повторил свою речь 29 апреля — это образовало бы «конституционное большинство». В этот день кадеты от конституционного пути отказались...». Маклаков интерпретировал «эпизод с амнистией» как стремление левого большинства Думы настоять на том, что после дарования граж-

данских свобод «преступники находились не в среде осужденных, а только в среде властей»: «При таком взгляде Думы на недавнее прошлое нельзя было говорить о примирении и успокоении, о забвении прошлого, которое одно могло бы амнистию мотивировать. Судьи и осужденные должны были просто поменяться местами; под флагом амнистии Государю предлагали встать на сторону Революции».

Между тем сам М. А. Стахович в тот день не собирался сдаваться и повторил попытку обосновать свою поправку: «Мне давно приходится жить, думать и говорить так несвоевременно, что приходится отстаивать против большинства не только то, что я считаю правильным, но даже и то, что я считаю разумным, и я давно знаю, как эта задача неблагоприятна, я давно знаю, что она часто бесполезна. Я только думаю, что это долг всякого совестливого человека, на какую бы сторону ни собралось большинство, часто глухое из-за самодовольно сознаваемой своей силы». Стахович попытался снова обратиться к разуму депутатов, призвав думать не только о прошлом, но и о будущем России: «Мало хоронить, все сосредотачиваясь и копясь в прошлом; надобно подумывать и высказаться о будущем теперь, чтоб оно не повторяло прошлого ни с какой стороны...».

Тем не менее поправка Стаховича была отклонена думским большинством. «Дума отвергла спасательную веревку, которую Стахович ей протянул, — писал в эмиграции Маклаков. — Если бы Дума оказалась способной подняться на его тогдашнюю высоту, она бы не только получила амнистию, она оказалась бы достойной той роли, которую сыграть не сумела...».

Здесь пора сделать небольшое отступление и сказать, что, упрекая уже в эмиграции своих бывших коллег-кадетов в старых перводумских грехах, В. А. Маклаков не был до конца последовательным. Многие свои претензии к Милюкову, Родичеву и другим бывшим товарищам по партии он явно сформулировал «задним числом». А тогда, в 1906 г., его позиция была существенно иной. Так, уже после роспуска I Думы, во время дискуссии с «октябристами» 30 ноября 1906 г., Маклаков еще вполне определенно защищал перводумскую

тактику кадетов: «Мы политические убийства не осудили потому, что думали, что эти осуждения скроют от глаз народа настоящую причину. Мы считаем, что это наше горе, которое только в России есть, и это горе питается условиями русской жизни... Мы думаем, что осудить политические убийства — это значит дать повод власти думать, что она права». Нетрудно заметить, что это примерно та же аргументация, с которой, например, Родичев выступал в I Думе против Стаховича.

Скорее всего, сам М. А. Стахович, опытный и мудрый политик, рассматривал свое участие в перводумской дискуссии по проекту ответного адреса лишь как эпизод в своей думской борьбе. Характерно, что он, в числе небольшой группы «умеренных» (граф П. А. Гейден, Н. С. Волконский и др.), не стал голосовать против окончательного текста думского адреса, а просто вышел в тот момент из зала. Он, по-видимому, считал важным тогда продемонстрировать и стране, и монарху единодушие парламента: борьба за конституцию против революции, по его мнению, еще не была проиграна.

М. А. Стахович также прекрасно понимал, что на левые фракции I Думы большое влияние оказывается извне Таврического дворца, например со стороны внедумских лидеров радикальных социалистических партий, мечтающих о крахе первого российского парламента. Судя по всему, Стахович питал личную неприязнь и к П. Н. Милюкову (и пользовался здесь, надо сказать, полной взаимностью): он полагал, что, не будучи депутатом, Милюков из-за кулис манипулирует не только своей фракцией, но и всей Думой, считая ее лишь эпизодом на пути к созыву по-настоящему полномочного и демократического Учредительного собрания.

Известно, что П. Н. Милюков любил цитировать фразу из Вергилия: «Если не смогу убедить высших, то двину Ахеронт». Под «Ахеронтом» (так в древнегреческой мифологии называлась одна из подземных рек ада) имелась в виду, разумеется, стихия революции, которой кадетские лидеры рассчитывали управлять. Рассудительный и умеренный Стахович не мог разделить этих кадетских иллюзий: одна из ярчайших его речей в I Думе была напрямую направлена

против кадетской идеи «управляемого хаоса», а возможно, и лично против Милюкова, обычно сидевшего во время думских заседаний в журналистской ложе.

«Очевидцы и обсерватории способны описывать ливни, грозы, но никто не может описать извержение вулкана, — начал свою речь М. А. Стахович. — Как после извержения вулкана, кроме все сжегшей лавы, есть еще стихийная масса пепла, которая все засыпает глубоко и тяжело, и только много лет позднее тщательными, равнодушными и беспристрастными усилиями науки можно восстановить условия этих событий, можно представлять, предсказывать ту жизнь Геркуланума и Помпеи, которая так внезапно оборвалась, — так и все движения народной стихии должны быть открыты и могут подвергнуться исследованию лучших историков не непосредственно вслед за своим событием, а только много позже и после долгого и добросовестного труда...».

Вполне вероятно, что, говоря о возможностях «лучших историков» изучить последствия революции только «спустя много лет», Стахович имел в виду не кого иного, как Милюкова — весьма заслуженного, как известно, историка. А вот в следующем пассаже той же речи Стахович уже откровенно негативно оценивал кадетскую тактику «заигрывания с революцией»: «Когда говорят, что не хотят революции, то обыкновенно забывают, что она не зависит от воли отдельных лиц; она даже не зависит от общей воли, она имеет свойство самовозгорания не только против желания, но иногда против ожидания участников или свидетелей...». Если многие в России, подводил итог Стахович, до сих пор не избавились от «наркоза возбуждения», от влияния того «вихря, который с атмосферической силой пронесется над страной», то есть две категории людей, которые обязаны сохранить в этих обстоятельствах полное трезвомыслие: «Это государственные деятели в настоящем и историк в будущем, когда он станет толковать человечеству значение его великих или ужасных бурь...». Сегодня можно только догадываться, какую реакцию вызвала эта речь Стаховича на кадетских скамьях и лично у Милюкова: в стенографических отчетах Думы об этом, к сожалению, ничего не говорится.

Достаточно важным в перводумской деятельности М. А. Стаховича стало его участие в дискуссии по аграрным вопросам. Как известно, проблема крестьянского малоземелья была одним из главных источников революционной смуты в стране. Включившись в обсуждение этого вопроса, Стахович прежде всего заявил: «Я категорически и не колеблясь стою за увеличение площади крестьянского землевладения. Я считаю это делом нужным, считаю его совершенно возможным и считаю его безотложным... Государственная нужда состоит в том, что нельзя существовать дальше, не подняв народ из нищеты. Русское государство нуждается в том, без чего ни одно государство не живет: народ должен стать плательщиком и потребителем...». Однако, по мнению Стаховича, весь вопрос состоит в том, как именно провести увеличение крестьянских наделов, не вызвав при этом нового хаоса: «Я не скрываю, что принадлежу к тем староверам, может быть смешным, которые продолжают считать, что поджог, грабеж, насилие — грех и безобразие и что о них нельзя говорить сочувственно, чуть ни ласково... И страшную ответственность кладут на Думу все те, кто с кафедры призывает к самоуправству народному, говорят, как сегодня еще, что надо перейти к силе и пусть-де падет эта кровь на виноватых. Эта пролитая нами и братьями нашими русская кровь прольется не за родину, а в ущерб ей и в горе! Пусть же ляжет она на совесть тех, кто прославляет насилие, подбивает омраченных, нетерпеливых и раздраженных (*аплодисменты справа, ропот слева*)».

Между тем М. А. Стахович выступил не только против откровенно социалистических идей земельного передела, но и против кадетского проекта аграрной реформы, предполагавшего решить проблему крестьянского малоземелья за счет отчуждения помещичьих земель «за достойное вознаграждение» и за счет передачи их крестьянам в срочную аренду. В противовес кадетам, Стахович выступил за передачу земли крестьянам в полную частную собственность: «Я стою не только за то, чтобы земельная площадь крестьянского землевладения была увеличена, но, помня о необходимости подъема культуры, чтобы эту землю крестьяне получили бы

в свою собственность... Непременно в собственность, а не во временное пользование, потому что в мире мы не знаем иного, более сильного двигателя культуры, чем собственность».

Еще в ходе работ I Думы стало ясно, что политические позиции таких умеренно либеральных депутатов, как М. А. Стахович, граф П. А. Гейден, князь Н. С. Волконский, расходятся не только с более радикальными группировками Думы (от кадетов и далее влево), но и с продолжавшим существовать вне Думы «классическим октябризмом», во многом поддерживавшим правительственный курс. Уже в начале лета 1906 г. встал вопрос о создании самостоятельной политической организации, название которой придумал М. А. Стахович — «Партия мирного обновления». Однако скорый роспуск I Думы, последовавший 9 июля, внес в эти планы серьезные коррективы.

11 июля 1906 г. в противовес радикальному «Выборгскому воззванию», которое было подписано в основном кадетами и левыми и призывало граждан к сопротивлению, хотя и «пассивному», от «Партии мирного обновления» было выпущено другое «Воззвание» за подписью трех бывших депутатов — графа П. А. Гейдена, М. А. Стаховича и Н. Н. Львова. В нем, в частности, говорилось: «В силу ст. 105 Основных законов Государю несомненно принадлежит право роспуска Думы. Мы считаем себя обязанными подчиниться не только по долгу подданных, но и по глубокому сознанию, что было бы преступно среди переживаемых Россией опасностей и смут колебать государеву власть... Поэтому первое слово наше, на ком лежало народное доверие, наше первое слово ко всем избирателям — призыв к спокойствию и противодействию каким бы то ни было насилиям. Только старательной подготовкой к новым выборам и сознательным осуществлением их может народ доказать, что дорожит своим представительством в деле правления и участием в создании законов. К будущим выборам должны быть направлены усилия русского народа, а нужды его будут выражены теми, кого он сознательно выберет. Всякие насилия, беспорядки и нарушения законов представляются нам не только преступными, но среди переживаемой смуты прямо безумными».

М. А. Стахович был избран в январе-феврале 1907 г. во II Государственную думу, которая оказалась еще более левой, чем ее предшественница. По разным причинам в новой Думе не оказалось главных соратников Стаховича по «Партии мирного обновления» — ни графа Гейдена, ни князя Волконского, ни Николая Львова. И хотя формально во II Думу были выбраны кроме него еще два «мирнообновленца», Стахович отказался от создания фракции — в отличие от графа Гейдена, он не имел вкуса к партийному руководству.

Основными оппонентами левых в новой Думе оказались уже не умеренные либералы, вроде Гейдена или Волконского, а ультраправые националисты типа Пуришкевича и Крушевана — с такими «союзниками» Стахович не хотел иметь ничего общего. Тем не менее и здесь, во II Думе, он активно выступал не только в пользу умеренных либеральных реформ, но против продолжающегося «революционного террора». Концовка его думской речи от 17 мая 1907 г. оказалась пророческой: «Если Государственная дума не осудит политических убийств, она совершит его над собою!». Действительно, в изданном 3 июня Высочайшем Указе о роспуске II Думы прямо говорилось: «Уклонившись от осуждения убийств и насилий, Дума не оказала в деле водворения порядка нравственного содействия правительству».

Впоследствии В. А. Маклаков, уже неоднократно цитированный в этом очерке, вспоминал о настроениях М. А. Стаховича в период II Думы: «Стахович мне не раз повторял, что этот вопрос (о терроре. — А.К.) и теперь, наверное, будет поставлен и сделается испытанием Думы. Если 2-я Дума, как Первая, от осуждения террора уклонится, она себя уничтожит. Ее не смогут после этого считать “государственным учреждением”; ее судьба этим решится. Когда и на чем ее распустят — неважно. Это будет вопросом лишь времени. Но приговор над нею будет произнесен, не откладывая. Я тогда плохо верил Стаховичу; думал, что он преувеличивает важность вопроса, который им самим был в Думе поставлен...».

Думский опыт М. А. Стаховича с роспуском II Думы (июнь 1907 г.) закончился. С 1907 г. и по 1917 г. он заседал в

верхней палате парламента — Государственном совете, куда регулярно избирался от орловского дворянства. После Февральской революции Стахович был назначен Временным правительством сначала генерал-губернатором Финляндии, а в сентябре 1917 г. — послом в Испанию. Вскоре после большевистского переворота в России он переехал на юг Франции, в городок Экс-ан-Прованс, где в 1923 г. скончался.

...Я начал этот очерк цитатой из мемуаров проницательной современницы М. А. Стаховича — Ариадны Тырковой-Вильямс. Другой цитатой из нее же — о последних годах жизни Михаила Александровича — я хотел бы и закончить: «Временное правительство попыталось сделать из него дипломата, послало его в Мадрид. Он недолго оставался на этом живописном посту, купил на юге Франции ферму, как Лев Толстой, с которым он был очень близок, сам шел за плугом, опаживая свои виноградники. Он писал друзьям в Англию, что это счастливейшее время его жизни. Там, среди виноградников, он и умер...».

Похоронен М.А. Стахович на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем.



Павел Николаевич Милюков:
«Идти соединением либеральной тактики с революционной угрозой...»

Павел Николаевич Милюков родился 15 января 1859 г. в Москве на Пречистенке в дворянской семье. По обычаю при крещении он получил имя святого, в день которого появился на свет, — пустынножителя 15-го в. Павла Фивейского. Но в отличие от своего святого, нашедшего смысл бытия в полном аскетическом уединении, Павел Милюков всю жизнь был ярко выраженным экстравертом и настойчиво стремился оказаться в самом центре общественно-политической жизни. И надо признать: ему это часто удавалось...

Молодые годы

В 1877 г. будущий знаменитый историк и политик окончил, лучшим среди однокашников и с серебряной медалью, Первую московскую гимназию (на углу Волхонки и Бульварного кольца), где до него учились двое других выдающихся русских историков — Михаил Погодин и Сергей Соловьев. После окончания гимназии, когда разразилась русско-турецкая война, гимназический друг Милюкова князь Николай Долгоруков предложил ему перед поступлением в университет поработать вместе волонтерами в санитарном отряде при кавказской армии. Работа продолжалась три месяца — к моменту возвращения друзей в Москву занятия в университете уже начались.

В конце сентября 1877 г. Павел Милюков был зачислен на первый курс историко-филологического факультета Московского университета, где учился у П. Г. Виноградова,

В. И. Герье, В. Ф. Миллера, а потом В. О. Ключевского и Н. С. Тихонравова. Большую роль в его становлении сыграл также М. М. Ковалевский, приобщивший Милокова-студента к философско-историческому позитивизму Огюста Конта. По позднему признанию самого Милокова, именно контовский позитивизм сформировал в нем основной каркас поступательно-прогрессивистской концепции истории: «Конт был читан, перечитан, конспектирован и возымел самое решительное влияние на все научное мировоззрение...».

Противоречия правительственного курса последних лет царствования Александра II напрямую отзывались на настроениях в университете. Уже со второго-третьего курса Милоков становится заметной фигурой в студенческих кружках, популярным оратором на сходках и митингах. Известие об убийстве императора террористами 1 марта 1881 г. вызвало небывалое студенческое брожение: в начале апреля за участие в запрещенной студенческой сходке Милоков был арестован и исключен из университета (правда, с правом восстановления на следующий год).

Неожиданно образовавшийся внезапный досуг был, впрочем, использован с большой пользой для самообразования. Получив разрешение на выезд за границу, двадцатидвухлетний Милоков отправился в Италию для практического знакомства с культурно-историческим наследием Античности и Возрождения. Любопытны впечатления юного русского западника от первой встречи с «живым Западом». Европа поразила Милокова уже в Варшаве: «Варшава, при проезде с вокзала на вокзал, показалась мне, по сравнению с Москвой, настоящим европейским городом — первым, который я видел...». Что же сказать о впечатлении, произведенном Веной! «Я потом много раз бывал в этой красивой столице, — вспоминал Милоков. — Но тогда восторг мой достиг высшей точки. Мне казалось, что лучше этого я уже больше ничего не увижу. Мы остановились в отеле “Метрополь”. Этот сравнительно скромный отель мне представился верхом комфорта и роскоши. А венский кофе с нетонущим куском сахара на сливочной пенке и с непременно стаканом ледяной воды!».

Историческая Италия дала богатую пищу для ищущего ума: мемуары Милокова говорят о его редкой увлеченности и работоспособности. Заложное тогда культурное знание прочно вошло в духовный арсенал будущего политика. Много позже коллеги Милокова по редакции кадетской газеты «Речь» запомнили, например, такой эпизод. Летом 1911 г. из парижского Лувра была похищена знаменитая «Джоконда» Леонардо да Винчи. Редактор художественного отдела газеты литератор и искусствовед А. Н. Бенуа был тогда за границей, и кто-то предложил обратиться на эту тему к главному редактору — Милокову. Вечером статья была готова; вернувшийся вскоре Бенуа долго не хотел верить, что текст принадлежит Милокову, а не крупному специалисту по истории искусства Возрождения.

Политические выводы из исторических штудий

Вернувшись после первого заграничного путешествия на четвертый курс университета, Милоков углубился в изучение русской истории. По окончании учебы он был оставлен при кафедре В. О. Ключевского для подготовки к профессорскому званию. В 1886 г. он становится приват-доцентом, а в 1892 г. успешно защищает магистерскую диссертацию о государственном хозяйстве России в эпоху Петра Великого. Окончательное профессиональное признание принесли Милокову трехтомные «Очерки по истории русской культуры» (1896–1903).

В своих работах Милоков-историк пытался найти и сформулировать баланс между безусловной верой в европейский универсализм и пониманием очевидной русской особенности перед лицом классической Европы. Очень скоро его исторические штудии оказались ангажированы вполне прикладной идеей: Россия должна и способна войти в Европу, но траектория русской европеизации будет не вполне прямой. Если внимательно вчитаться в милоковские «Очерки русской культуры», написанные еще на рубеже столетий, то становится очевидным, что уже тогда главными для Милокова стали вопросы о том, как возможно в России формиро-

вание европейской политической культуры и кто способен стать эффективным субъектом европеизации страны. Отсюда его пристальное внимание к фигуре главного «русского западника» — Петра Великого.

Петр всегда был культовой фигурой для русских западников: его радикализм в деле вестернизации России оправдывал в их глазах и авторитарную модель режима, и революционно-варварские методы в борьбе против традиционалистского «варварства». Критика петровских «реформ сверху» стала уделом славянофильства, и лишь очень немногие из отечественных западников находили в себе смелость подвергнуть сомнению реформаторский гений императора. Миллюков, профессионально изучавший историю петровских реформ, оказался в числе немногих ярких критиков Петра с позиций... самого европеизма.

Петровский «европеизм», с точки зрения Миллюкова, слишком импульсивен и эмоционально окрашен, а потому формален и неглубок. Придворные интриги, тревожная обстановка детства выработали в молодом царе, с одной стороны, «замечательное умение притворяться, которому не раз удивлялись иностранцы», а с другой — «непобедимое недоверие к искренности его окружающих»: «Эта благоприобретенная черта не позволяла Петру до конца жизни ни на кого ни в чем положиться и приводила к тому же, к чему и врожденная живость характера: к желанию, превратившемуся в потребность, самому все делать, входя в самые мелочные детали каждого дела...». По мнению Миллюкова, Петр оказался в заколдованном круге: ценя в людях прежде всего абсолютную личную преданность, он имел очень ограниченный кадровый выбор и «ни на один сколько-нибудь ответственный пост не мог посадить лицо, действительно подходящее, а назначал фигурантов, ничтожества, не имевшие никакого понятия о деле...». Обратной стороной такого положения вещей было полное равнодушие людей из ближайшего окружения Петра к глубинному содержанию того дела, которым они были вынуждены заниматься: «Чем их положение становилось прочнее и обеспеченнее, тем сильнее обнаруживалось, что они преследуют только личные, своекорыстные

интересы». По существу, эти «сподвижники» оказались такими же врагами реформ (первые же послепетровские годы это окончательно подтвердили), как и те, которых царь надеялся победить назначением доверенных лиц. Вокруг максималиста Петра образовалась пустота, и сам он становился «всё более анахронизмом среди сотканной им же паутины нового житейского церемониала»: «Окружающие утомлялись от этой необходимости быть вечно настороже... В конце концов против царя составилась какой-то молчаливый, пассивный заговор...». Вывод Миллюкова таков: «При полном отсутствии той междуклеточной ткани социальных отношений, которая вырабатывается культурным процессом и одна может обеспечить непрерывность социального действия... Петру поневоле приходилось верить в одного только себя и полагаться лишь на собственные силы».

Убежденный европеист, Миллюков был, однако, очень далек от тотальной критики петровской «полувестернизации». Да, Петр во многом ограничился лишь внешним подражательством Западу, но эта «внешность» (одежда, жилище, церемониал), согласно Миллюкову, — «важнейшие части немого языка культуры». Бытовой, формальный европеизм — низший, но обязательный этап взращивания европеизма содержательного, необходимый пролог к постановке главного вопроса: как сформировать в России эту искомую русско-европейскую «междуклеточную ткань социальных отношений»?

Уже в ранних «Очерках» у Миллюкова-историка зарождается мысль о приоритетности создания в России европейской *политической среды*. «России не хватает политики», полагает Миллюков, и в первую очередь ее важнейшего элемента — идейного плюрализма и развитого парламентаризма, опирающихся на либеральное законодательство. Но кто способен в самодержавной стране эффективно бороться за конституцию, демократию и парламентаризм?

Развенчивая преобразовательный пафос героя-одиночки, Миллюков вообще считал крайне ограниченными возможности в России «модернизации сверху». Ведь государство и бюрократия в России явились не естественным продуктом общественного договора сословий, а *искусственным*, автоном-

ным от общества, всеподавляющим образованием. А в условиях, когда обратная связь с общественными интересами сведена до минимума, правящая бюрократия оказывается совершенно нечувствительной к социальным потребностям.

Скептически оценивает Милюков и модернизаторский потенциал российского дворянства как сословия. В отличие от западной аристократии, прошедшей долгую школу борьбы за личные права и свободы, русское дворянство было привилегированным лишь в той мере, в какой было служилым сословием. Отмена обязательности государственной службы при Екатерине дала толчок не столько к развитию сословной самостоятельности и корпоративного духа дворянства, сколько к еще большей политической апатии.

Не получается в России и полноценная ставка на «третье сословие», сословие горожан. В отличие от Запада, где рост городов был следствием внутреннего развития экономической и промышленной жизни, в России город был не автономной, эмансипированной от верховной власти, а, напротив, максимально зависимой от самодержавия единицей: «Раньше, чем город понадобился населению, он понадобился правительству». Русский город, согласно Милюкову, имел принципиально иную природу, чем на Западе: «И сама Москва, единственный сколько-нибудь значительный город древней России, не составляет исключения... Несмотря на обширное пространство... Москва была огромной царской усадьбой, значительная часть населения которой так или иначе стояла в связи с дворцом в качестве свиты, гвардии или дворни...». Петербургский период лишь развил и усугубил эту тенденцию.

Итак, проблема России и ее гражданской отсталости на фоне динамичной, прогрессирующей Европы — не в силе русской государственности, а, как это ни парадоксально, в слабости последней, в преобладании сверху донизу анархистствующих, негосударственных элементов, в отсутствии «социального сцепления». Власть — самодурна, неподзаконна и по-своему анархична, поэтому эффективной государственности не складывается. Даже Петр — апофеоз русской власти — не в силах создать органичных механизмов государст-

венности. Необходимо увеличивать силы сцепления между властью и обществом, создать — как на либеральном Западе — «политическую нацию».

Апология русской интеллигенции

Таким образом, излюбленная идея Милюкова, которую он варьировал на протяжении всей своей интеллектуальной карьеры, — это острая недостаточность в России политической культуры. Перебрав и оценив все возможности и шансы, Милюков едва ли не «методом исключения» приходит к выводу, что единственным перспективным ферментом европеизма в России, силой, способной целенаправленно формировать европейскую «междуклеточную ткань социальных отношений», является национальная интеллигенция, внеклассовое образование, способное формулировать общенациональные, гражданские, а не узкорпоративные интересы. Отсюда и позднее убеждение Милюкова как конституционного демократа: кредо истинного «кадета» не в защите интересов социальных низов (этим занимаются «левые») и не в защите корпоративных привилегий верхов (здесь поле деятельности «правых»), а в отстаивании интересов формирующейся нации как целого. Интересы эти состоят в первую очередь в расширении пространства политической свободы, которая должна быть обеспечена демократизацией права и особой социальной политикой (например, справедливым перераспределением частной собственности через отчуждение ее неэффективных и антисоциальных излишков за адекватное вознаграждение).

Интеллигенция для Милюкова — временный заместитель в России «третьего сословия», сословия «bourgeois», однако не в банальном материально-собственническом, а в широком культурном смысле. Фактически европеист Милюков полагает именно развитие культуры наипрочнейшим залогом развития русского европеизма. Европеизм, либерализм и культура для него — в российском контексте — понятия почти синонимичные. Политическая культура для Милюкова высшая и универсальная форма культурного существования вообще.

Через парламентско-партийную систему политика увенчивает здание культуры, создает ту универсальную связь, которая в конечном счете и «сцепляет» политическую нацию.

Отношение к национальной интеллигенции — суть внутрilibеральных расхождений Милюкова и группы интеллектуалов, составивших знаменитый сборник «Вехи». Как известно, одну из главных причин русского неустройства веховцы видели в деструктивной, антигосударственной, «отщепенческой» (по выражению Петра Струве) роли интеллигенции, в интеллигентском идейно-политическом максимализме, разнудывающем разрушительные инстинкты социальных низов. У веховцев речь шла о необходимости интеллигентской «деполитизации» и ставке на социальную эволюцию и личностное совершенствование. Милюков же, напротив, был уверен, что *политическая реформа должна предшествовать социальной* и только политические права и свободы могут стать надежной гарантией от эксцессов как власти, так и революции.

В антивеховском сборнике «Интеллигенция в России» Милюков выступил с программной статьей «Интеллигенция и историческая традиция». В отличие от бывших марксистов, пришедших к идеализму (Бердяев, Булгаков, Франк и др.), он видел причину русских бед не в «панполитизме» интеллигенции, а, напротив, в недостатке осмысленной политизации. По его мнению, чурающиеся политики авторы «Вех» сами дают наглядный пример левого иррационализма, фанатического стремления монополизировать истину, напроць забывая о культурном плюрализме и толерантности. Взяв на вооружение идеи рационализма, Милюков так писал об основной идее «Вех»: «Это бунт против культуры, протест “мальчика без штанов”, “свободного” и “всечеловеческого”, естественного в своей примитивной беспорядочности, против “мальчика в штанах”, который подчиняется авторитетам... Как-то так выходит, что авторы “Вех”, начавши с очевидного намерения одеть русского мальчика в штаны, кончают рассуждениями... “мальчика без штанов”...».

Обвинение таких рафинированных интеллектуалов, как Бердяев, Булгаков, Франк, в «примитивной беспорядочно-

сти» и «беспортошной всечеловечности» было, конечно, весьма авантюрным и эффектным. Рассудочному Милюкову, считавшему себя рациональным аналитиком, прошедшим школу позитивизма, вряд ли тогда представлялось, что в его собственной партии найдется человек, который спустя несколько лет очень аккуратно, неразмашисто, но едко уязвит Милюкова в том же самом, в чем Милюков упрекал и Петра-реформатора, и веховских интеллектуалов, — в интеллигентской импульсивности и преобладании эмоций над рассудочностью. Этим человеком станет коллега Милюкова по кадетской партии — Василий Алексеевич Маклаков.

Приход в политику

Со временем Милюков окончательно нащупывает принципиальное решение в создании политической организации конституционалистов-единомышленников, соединявшей либерально-демократические усилия просвещенной интеллигенции и практиков из числа земских либералов. Партия для Милюкова — это механизм рационального согласования позиций и выработки стратегии позитивного действия. Позитивистская, «контовская» выучка в полной мере сказалась и здесь.

Уже первые политические опыты Милюкова 90-х гг. позапрошлого века говорят о постепенном формировании его особого политического стиля, который позволил ему со временем прочно стать во главе либерального движения в России и долгие годы удерживаться на этой позиции. Близко знавшие его друзья характеризовали политические позиции Милюкова того времени как «левый либерализм», балансирование «на грани легальности», стремление найти среднюю линию между радикализмом и эволюционным обновленчеством. Строгость исторической аргументации и при этом радикализм политических выводов становятся «фирменным знаком» Милюкова. Позднее известный кадет В. А. Оболенский постарается отыскать разгадку этого двуединства в том, что политические приоритеты Милюкова сложились не под влиянием эмоциональной «любви к народу» (как у ради-

кальных народников), а прежде всего как «вывод из научной работы мысли». Милюков-политик — прямое отражение Милюкова-историка (добавим: историка-позитивиста). Подобное научно-рациональное происхождение политических идей Милюкова, полученных им из научных занятий, и явилось, по мысли Оболенского, залогом их прочности: «Идеи, воспринятые эмоционально, легко стираются новыми эмоциями. Идеи, почерпнутые из практической жизни, не выдерживают часто жизненных перемен. Работа мысли всегда прочнее». Сам Милюков весьма характерно описал в «Воспоминаниях» принципы своего политического возмужания: «В моем случае наблюдения над жизнью передовых демократий соединялись с предпосылками, вынесенными из изучения русской истории. Одни указывали цель, другие устанавливали границы возможных достижений».

Тогда же, на рубеже веков, Милюков обрастает большим кругом знакомств в интеллектуальной, культурной и политической среде, активно сотрудничает в научно-просветительских журналах и первых политических газетах. Научная и лекционная деятельность перемежается судебными разбирательствами и тюремными отсидками. Власти несколько раз арестовывают Милюкова — и... отпускают его для чтения лекций за границу. Правительство, более озабоченное крайними радикалами-социалистами, никак не может определиться в отношении либеральной профессуры.

Начало нового века П. Н. Милюков встретил, имея безусловный авторитет интеллектуала-эрудита, умелого лектора, талантливого публициста и — одновременно — энергичного борца с режимом, имевшего к тому же уникальный круг знакомств. Человек с такой репутацией не мог не быть востребован нарождающейся политической оппозицией. Весной 1902 г., еще до своего многомесячного вынужденного отъезда за границу, Милюков получил приглашение от группы тверских земцев во главе с И. И. Петрункевичем приехать в его имение Машук для составления программного заявления в первый номер заграничного либерального журнала «Освобождение» (там, кроме хозяина, присутствовали еще двое будущих отцов-основателей кадетской партии — князь

Д. И. Шаховской и А. А. Корнилов). Проект был обсужден, позднее дорабатывался и, с небольшими изменениями, под названием «От русских конституционалистов» был опубликован в первом номере «Освобождения», которое П. Б. Струве начал издавать в Штутгарте.

По собственному признанию Милюкова, он окончательно провозгласил себя либералом в 1903 г. При этом он считал себя продолжателем скорее интеллектуальной (близкой к декабристам и Герцену), а не экономико-буржуазной либеральной традиции. А поскольку именно политическая эмансипация общества виделась ему приоритетной, он полагал возможным и даже необходимым сотрудничество с умеренными социалистами в деле демократизации страны.

Милюков вернулся в Россию в апреле 1905 г., когда процесс политической самоорганизации уже охватил российские столицы. Одно время его пытались перехватить интеллектуальные лидеры социалистов-революционеров. Друзья из народнической редакции «Русского богатства» (В. А. Мякотин и др.) предлагали ему даже войти в состав ЦК эсеровской партии и были немало удивлены отказом Милюкова, заявившего, что он вовсе не является социалистом. Столь же радушно Милюков был принят и в демократическом, либерально-народническом Союзе писателей, организованном Литературным фондом (К. К. Арсеньев, Н. Ф. Анненский), и в Вольном Экономическом обществе (где наличествовали все политические оттенки — от либерал-консерватизма графа П. А. Гейдена до социального демократизма Е. Д. Кусковой). Некоторое время Милюков не делал окончательного выбора: «Такое мое положение было самым благоприятным не только как обсервационный пункт, но и как способ политического самоопределения».

Именно это положение между земцами-практиками (Петрункевич, Родичев, Шаховской, братья Долгоруковы) и «левыми интеллигентами» (Анненский, Богучарский, Пешехонов, Прокопович) еще более улучшило стартовую позицию Милюкова для быстрого политического взлета. Он стал активным участником т.н. банкетной кампании, когда, под видом безобидной фронды, закладывались основы буду-

шего политического самоопределения. Бывало, что Милюков выступал тогда по нескольку раз в день — от аристократических салонов до студенческих мансард. Всегда действовавший на грани легальности, Милюков понял скрытый до поры потенциал безобидных, казалось, «банкетов». Он-то, как историк, прекрасно знал, что аналогичные банкеты в конце эпохи Луи-Филиппа стали эффективной формой быстрого перехода от ритуальной фронды к открытой политической борьбе, приведшей в конце концов к падению июльской монархии (1830—1848) во Франции.

Среди людей, различных по политическим убеждениям, но временно объединенных схожими антиправительственными эмоциями, Милюков оказался одним из самых рациональных. Процесс политической самоорганизации, неизбежно предполагающий рационализацию эмоций, потребовал поставить во главе общелиберального движения человека суховато-рассудочного, тяготеющего к либеральному центризму. В интеллигентской политизированной среде, решившейся на кристаллизацию политической партии, существовал острый запрос на лидера, способного примирять фланги, имеющего уникальную способность и раствориться в общелиберальной среде, и в то же время эффективно представлять от ее имени. Этот лидер должен был быть фундаментально образован, убедительно говорить, хорошо писать, умело председательствовать, иметь честную репутацию принципиального противника режима, в том числе и за границей. В каждой из перечисленных «номинаций» по отдельности были люди, наверное, не менее блестящие, чем Милюков, но он оказался уникален по совокупности искомых качеств. Как «многоборцу» Милюкову не оказалось равных, и он очень быстро дал окружающим понять это.

Во главе кадетской партии

В зародившейся Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы) были практически с самого начала разведены председательские функции и функции лидера партии. Председательство в ЦК в разное время осуществляли

беспорные моральные авторитеты — князь Пав. Д. Долгоруков и И. И. Петрункевич. В Первой и Второй Государственных думах, не будучи депутатом, Милюков не мог быть, соответственно, и руководителем фракции. Но уже с первых лет кадетской деятельности за ним прочно закрепляется роль лидера партии. Именно в его функции входила выработка стратегической линии, формулировка тактических задач, принципов и форм коалиционной политики.

Позднее многие критики (часто из числа до поры лояльных коллег-партийцев) сетовали, что в такой ответственной для России момент либеральную партию возглавлял столь «бесчувственный» человек, как Милюков. Его позицией были недовольны многие, обвинявшие его и в «избыточной рассудочности», и в склонности «выстраивать жизнь геометрически», видеть в коллегах «не человеческую душу, а политическую функцию». Оппоненты Милюкова полагали, что прочность его убеждений часто перерастала в политическую косность, уподобляли Милюкова сильному, с хорошей выучкой шахматисту, блестяще разыгрывающему «стандартные положения», но негибкому и неспособному к творческой импровизации... Справедливости ради, однако, надо сказать, что без Милюкова прочное организационное оформление российского либерального демократизма могло вообще не состояться и уж, во всяком случае, не продержалось бы столь относительно долгое время. Именно в сохранении внутривнутрипартийного единства Милюков видел свою приоритетную политическую задачу, возможно — историческую миссию. Он сознательно отождествил себя с партией, и большинство в партии приняло это самоотождествление как естественное и должное.

Отмеченная многими современниками милюковская толерантность к внутрилиберальным оттенкам и различиям во многом проистекала из той же общеисторической концепции. Европейская «ткань», европейская политико-интеллектуальная среда по определению не могут быть однородны. Европеизм предполагает неперемное наличие оттенков, зачастую — противоречий. Лидер, требующий унификации (пусть даже во имя западничества — как Петр!),

не является вполне европеистом. Но и удержать эту неоднородную «ткань» от расползания чрезвычайно сложно. Миллюков, как трудяга-паук, плел и плел эту партийную ткань и, надо признать, сумел достаточно долго удерживать ее противоречивую целостность. В этом и состояла принципиальная политическая роль Миллюкова — лидера-вождя и внутрилиберального посредника в одно и то же время.

«Справа» в партии ему постоянно досаждали В. А. Маклаков и П. Б. Струве; «слева» — не менее яркие фигуры наподобие А. В. Коллюбакина или Н. В. Некрасова. Но Миллюкову никогда и в голову не приходило (по крайней мере, он ни разу не дал себя в этом заподозрить) выдавливать этих людей из кадетских рядов, пользуясь лояльностью большинства. Свою роль он видел в формулировке общепартийной «средней линии» и к разбросу точек зрения в партии относился вполне терпимо. Иногда даже казалось, что он верил, что чем шире диапазон мнений, тем устойчивее партийный политический центр и его личное положение в партии.

Миллюков, человек спокойный и уравновешенный, хорошо державший удар и знавший себе цену, никогда не страдал комплексом неполноценности и не бравировал своим лидерством в партии. Он всегда признавал нравственный авторитет в партии патриарха земского радикал-либерализма Петрункевича и выдающиеся личные качества князей Долгоруковых и Шаховского, не считая зазорным лишний раз поехать посоветоваться с ними не только по принципиальным, но и по менее важным вопросам. Те, в свою очередь, зная предсказуемость и взвешенность Миллюкова, безусловно доверяли ему в текущих вопросах политической тактики.

Миллюков, похоже, не ревновал к успеху и славе своих талантливых товарищей по партии — по крайней мере, все вокруг были в этом уверены. Уже будучи депутатом и признанным лидером фракции, он часто с видимой легкостью уступал право выигрышных выступлений по принципиальным вопросам другим кадетским депутатам — например, В. А. Маклакову или Ф. И. Родичеву, полностью полагаясь на их компетентность и ораторский дар. Очевидно, что роль Миллюкова в партии определялась еще и тем, что ему удалось создать

доверительную «рабочую связку» с такими выдающимися кадетами, как Ф. Ф. Кокошкин и А. И. Шингарев. Поэтому, когда периодически перерешался вопрос, кому быть лидером партии, Миллюков вновь и вновь получал преимущество еще и потому, что возглавлял сработавшуюся и авторитетную команду.

Разумеется, не все «звезды» либерализма желали светить отраженным светом Миллюкова. Среди тех, кто интеллектуально был близок к кадетству, но отказался войти в партию, был, например, М. М. Ковалевский. Его, знавшего Миллюкова еще юным студентом, можно, наверное, понять. Видный деятель кадетской партии А. В. Тыркова-Вильямс вспоминала, как однажды на ее вопрос, почему, в целом разделяя кадетские взгляды, Ковалевский не вступает в партию, тот, «заливаясь своеобразным хохотом, от которого не только он сам, но и воздух кругом колыхался», ответил: «Не могу же я под Миллюковым сидеть. Душа не принимает».

Да и внутри партии были влиятельные кадеты, кого Миллюков откровенно раздражал и кто был способен, при других обстоятельствах, претендовать на общепартийное лидерство. Лидер московских кадетов М. В. Челноков (будущий московский городской голова) иронично и неприязненно называл Миллюкова «Миллюк-пашой» и даже в пору своего думского депутатства стремился дистанцироваться от кадетов-петербуржцев, среди которых влияние Миллюкова было особенно сильно.

Возможно также, что такие фигуры как П. Б. Струве или В. А. Маклаков, были интеллектуально более яркими, чем Миллюков, но они были менее организованны, менее предсказуемы, имели многие интересы, помимо партийных, и потому добровольно отошли на второй план. Некоторое время претендовал на лидерство и блестящий юрист М. М. Винавер, но и он, присяжный поверенный из провинциальных евреев, скоро вынужден был признать первенство великоросса Миллюкова, ограничившись достаточным влиянием на лидера.

Миллюковский стиль выработки внутрипартийного компромисса А. В. Тыркова-Вильямс описывала так: «Миллюков

умел внимательно слушать, умел от каждого собеседника подбирать сведения, черточки, суждения, из которых складывается общественное настроение или мнение... Это был технический прием, помогавший ему нащупывать то, что он называл своей тактической линией равнодействия... На следующее заседание Милюков уже являлся с синтезом разных мнений. Но, раз придя к какому-нибудь заключению, он крепко за него держался, и тогда сдвинуть его было трудно...». К этому надо добавить, что Милюков умел не только обобщать и адаптировать частные мнения (похоже, это во многом было сознательной демонстрацией демократизма), но и активнейшим образом формировал эту «тактическую линию равнодействия». Здесь мощным инструментом служили многолетние и практически ежедневные политические передовицы в партийной газете «Речь», закреплявшие лидерский статус Милюкова и во внутривнутрипартийном, и в более широком общественном мнении.

В борьбе за политическую власть

Для российских интеллектуалов начала XX в., желающих активно участвовать в политике, было очень непросто удержаться в центре между примиренчеством и революционаризмом. В этом смысле политическое поведение Милюкова было в целом достаточно последовательно и принципиально. Историческое знание европейского опыта говорило ему, что «третий путь» между реакцией и революцией не только необходим (что постулировала либеральная теория), но и возможен. А следовательно, этот срединный путь должен быть практически найден и в России, и последовательное выдерживание его (другими словами, всемерное поддержание собственно *либеральной идентичности*) есть главный приоритет партийной политики.

Позднее внутрилиберальные оппоненты Милюкова (тот же В. А. Маклаков, например) говорили о трагическом недоучете кадетским лидером возможностей сотрудничества с тогдашней властью. Да, Милюков не верил в возможность чисто либерального воздействия на власть. В первую очередь из-

за тотальной неразумности последней — от внутреннего устройства этой архаичной власти до ее ультраконсервативного менталитета. И если по отношению к становящемуся гражданскому обществу Милюков полагал приоритетной рациональную, разъясняющую, просветительскую стратегию, то по отношению к косной и иррациональной власти он считал нелишним жесткий эмоциональный прессинг, использование страха власти перед революционной бездной. Поэтому, по аналогии с периодом, предшествовавшим эпохе Великих реформ Александра II, Милюков считал, что левая революционная угроза может стать серьезным инструментом эволюции режима. Отсюда его знаменитая формула: «слева у нас врагов нет», за которую его бесчисленное число раз били оппоненты «справа». Вспомним, однако, бесспорный исторический факт: со временем даже лидеры правых октябристов А. И. Гучков и М. В. Родзянко, стремившиеся реформировать режим по преимуществу изнутри, исключая все радикальные методы внешнего воздействия на власть, пришли к тому же выводу о полной невменяемости верховной власти и абсолютной невозможности рациональной апелляции к ней.

И все же в маклаковской критике было, несомненно, и рациональное зерно. В своих эмигрантских работах 1920-х гг. Маклаков, задним числом, не без успеха попытался переиграть Милюкова на его же поле рассудочной тактики, фактически обвинив оппонента в «программном фетишизме». Маклаков укорил Милюкова в том, в чем тот когда-то сам обвинял авторов «Вех»: в подмене рациональной политики эмоциями и инстинктами. Здесь критик, по-видимому, прав: многие действия левых либералов во главе с Милюковым действительно были избыточно импульсивны и эмоциональны (например, подписание радикального, но, как выяснилось, тактически абсолютно проигрышного «Выборгского воззвания» (июль 1906 г.) в связи с роспуском Первой думы).

Менее убедителен Маклаков, когда пытался уязвить Милюкова в избыточной амбициозности и неуступчивости в деле достижения компромиссных политических конфигураций с правящим режимом в годы первой русской революции. По мнению Маклакова, максимализм лидера кадетов,

настаивавшего на «однородном кадетском министерстве», фактически сорвал возможности компромисса, способного повести Россию по пути политической эволюции.

В самом деле, существует немало свидетельств того, что в 1906—1907 гг. в ближнем круге Николая II обсуждался вопрос о привлечении Милюкова на министерские посты в правительстве, вплоть до председательского. Ясно, однако, и то, что это были комбинации отдельных членов николаевского окружения (Трепова, Столыпина, Извольского), стремящихся отсечь либералов от революционного лагеря и соблюсти при этом свои персональные интересы.

В своих мемуарах Милюков проявил достаточно ревнивое отношение к всему комплексу вопросов о своем возможном призвании в кабинет министров. Тема — это совершенно очевидно — вплоть до последних дней бередила его сознание, заставляя вновь и вновь перепроверять свою давнишнюю позицию. И, надо признать, аргументация Милюкова выглядит и логичной, и убедительной. Разумеется, у него были и соблазны власти (понятные для любого политика), и ревность по отношению к возможным конкурентам на посту «либерального премьера» (Д. Н. Шипову и С. А. Муромцеву), но очевидно, что не эти соображения были для него определяющими. Главным было убеждение в приоритетности четкой правительственной программы над конкретными фигурами. «Нельзя выбирать лиц; надо выбирать направление» — эту формулу Милюков проводил неукоснительно. В срыве переговоров о вхождении в кабинет министров сыграла свою роль и его безусловная лояльность партии: известно, что патриарх кадетов И. И. Петрункевич был шокирован даже самой возможностью включения членов партии в треповско-столыпинские комбинации. Всё перечисленное в основном выводит Милюкова из-под критики оппонентов, обвинявших его в неудовлетворенной амбициозности и действиях по принципу «если не я, то никто...». Стоит также напомнить, что даже куда более умеренные представители либерального лагеря (Д. Н. Шипов, гр. П. А. Гейден, Н. Н. Львов, М. А. Стахович) в конечном счете отвергли возможность войти тогда в правительство: отсутствие гарантий

серьезного политического влияния создавало запредельные риски для репутации.

Однако наилучшим индикатором политической умеренности и рассудительности Милюкова является его поведение в дни Февральской антимонархической революции. Как известно, 2 марта 1917 г. Николай II отрекся от престола в пользу брата Михаила, а не сына Алексея, как рассчитывали принудившие его к отставке представители Думы. Это принципиально меняло дело; шансы «республиканцев» в оппозиционном лагере серьезно возросли. Парадоксально, но среди лидеров оппозиции (в самом широком диапазоне — от «левых» Керенского и Некрасова до «правых» вроде Родзянко) Милюков оказался практически единственным, кто встал на защиту конституционной монархии. По его мнению, сохранение монархического строя (по крайней мере на переходный период) необходимо, иначе Временное правительство рискует стать «утлой ладьей», которая может потонуть в океане народных волнений и не довести страну до Учредительного собрания. Сильная власть, необходимая для укрепления нового порядка, утверждал Милюков, нуждается в опоре на привычный для масс символ власти. В противном случае, крайне вероятна утрата всякого «государственного чувства» и полная анархия.

Как известно, эта аргументация не была в полной мере услышана. По мнению Милюкова, «так совершилась первая капитуляция русской демократии»: не будущее Учредительное собрание, а верхушка последней Думы решила судьбу государства. Теперь новая власть опиралась не на законодательство, а на *революцию*, и то, что одно время могло казаться силой, со временем все более обнаруживало свою слабость и неустойчивость.

На посту министра иностранных дел

Как известно, в первый революционный кабинет князя Г. Е. Львова Милюков вошел в качестве центральной фигуры — министра иностранных дел (похоже даже, что это именно Милюков специально выдвинул на первую роль Львова,

дабы она не досталась Родзянко). Драматическая судьба этого правительства, как и последующих временных кабинетов министров, хорошо известна. Известно и то, что именно Милюков явился в те драматические месяцы 1917 г. объектом наиболее острых нападков как «слева», так и «справа».

Более всего Милюкова обвиняли в неуместной апологии союзнических обязательств, затягивании непопулярной войны, что, в свою очередь, явилось якобы прямым следствием «недостатка национального чутья» и «душевной тугухости» (в последней инвективе иронично оттенялись хороший музыкальный слух Милюкова и его любовь к игре на скрипке). Думается, что критика эта, хотя и не лишена оснований, в основе своей тенденциозна. У Милюкова-министра была своя — и достаточно последовательная — логика.

Как глава внешнеполитического ведомства, Милюков лучше других понимал невозможность бесконфликтного одностороннего выхода России из войны; разрыв с союзниками мог лишь еще более осложнить положение. Возвращенные с фронта миллионы солдат могли стать источником окончательной дестабилизации. С другой стороны, только отмобилизованные и еще сохранявшие дисциплину фронтовые части были способны противостоять разлагающему влиянию политизированных столиц.

Иначе говоря, пребывание в состоянии войны (при всех очевидных издержках и рисках) представлялось Милюкову «меньшим злом» и более надежной тактикой для сдерживания главной опасности — народной стихии. В письме коллеге по партии, управляющему делами Временного правительства В. Д. Набокову (в 1922 г. в Берлине тот ценой своей жизни спасет жизнь Милюкову во время покушения на него монархистов) Милюков писал: «Может быть, еще благодаря войне всё у нас еще как-то держится, а без войны скорее бы всё рассыпалось...». Своим соратникам министр разъяснял: «Революция должна быть *стиснута*, пока ее нельзя прекратить, стиснута именно военной обстановкой».

Милюков очень долго полагал возможным рационально переиграть революцию, не желая идти на компромиссы со стихийностью и «коллективным бессознательным». Ему

претили попытки эсеров-меньшевистских лидеров (а также таких своих коллег по партии, как, например, Некрасов) «оседлать» волну иррационализма, слившись с ней, «возглавить взбесившийся табун», чтобы отвести его в сторону от пропасти. Налицо очевидный и драматический парадокс: рассудочная холодность Милюкова, которая когда-то помогла ему стать бесспорным лидером периода либерально-демократического подъема, — она же помешала ему стать эффективным политиком в эпоху массового иррационализма.

Особого разговора заслуживает вопрос о взаимоотношениях Милюкова и европейских союзников России, в первую очередь Англии. Как уже отмечалось, для Милюкова понятия «европеизм», «патриотизм» и даже «прагматизм» с самого начала его идейно-политического становления были во многом синонимами. В молодости он и сформировался как европеист (англоман по преимуществу), главным образом потому, что считал западную политическую культуру и классический парламентаризм благом для России. Прагматизм оставался главным приоритетом для него и позднее, в годы Первой мировой войны. Он, кстати, очень быстро охладел к союзникам, когда в апреле 1917 г. те фактически «сдали» его, никак не препятствуя выдавливанию его из правительства и слишком легко согласившись на его замену другим «западником» — М. И. Терещенко. Очевидно, что Англия в апогее политической влиятельности Милюкова была по отношению к нему настороже: он был для нее чересчур самостоятелен и амбициозен. В свою очередь Милюков, признанный политический идеолог славянства (получивший за свои панславистские убеждения прозвище «Дарданелльский»), не мог не понимать, что Англии совсем не по вкусу доминирование России на Балканах и обретение ею контроля над черноморскими проливами. Милюков еще раз готов был поступиться своим англоманством, когда (правда, на очень короткий момент — летом 1918 г.) увидел шанс антибольшевистской борьбы в пронемецкой ориентации. И он быстро покаялся в своем «мимолетном затмении» (и перед кадетской партией, и перед союзниками), когда увидел полную иллюзорность ставки на немцев и неизбежность для себя и партии

возвращения в лоно «союзничества». И, кстати, был достаточно легко прощен в Англии (официально — «в знак признания былых заслуг»): прагматическую сторону милюковско-го «западничества» там понимали вполне отчетливо, как понимали и то, что как самостоятельный игрок экс-министр России теперь не внушает больших опасений.

В Белом движении и эмиграции

Биография П. Н. Милюкова после большевистского переворота, его участие в Белом движении, а затем в многочисленных эмигрантских политических комбинациях достаточно хорошо изучены (недавняя публикация «Дневников Милюкова», хранящихся в Бахметьевском архивном фонде в США, является в этом смысле важной вехой). Наиболее проблемной и интересной темой для этого периода жизни Милюкова представляется постепенная выработка им в эмиграции т.н. «нового курса».

Переосмысление Милюковым роли либералов в новейшей истории России началось с критического анализа взаимоотношений кадетской партии и «белых правительств». Как известно, еще до Октября, при всех попытках избежать прямого отождествления с идеей «правой военной диктатуры», кадеты так или иначе оказались связаны с корниловским мятежом. И впоследствии кадетизм был неотъемлемым элементом белых режимов: сам Милюков был советником генерала Алексева, писал Декларацию Добровольческой армии; Струве был идеологом Деникина, Карташев — Юденича, Пепеляев — Колчака...

Милюков-эмигрант одним из первых либеральных лидеров понял, что главная угроза для сохранения либеральной, конституционно-демократической идентичности теперь исходит от перспективы растворения кадетов в правом, «реставрационном» лагере. Перед глазами Милюкова были к тому же наглядные примеры несомненного тактического успеха в эмиграции умеренных социалистов, которые, выдвинув в свое время лозунг «ни Ленина, ни Деникина», в большей мере сохранили свою антибольшевистскую и в то же время

демократическую идентичность. Левые издания — «Дни Керенского», «Современные записки» (Авксентьева-Бунакова-Вишняка) — получили в эмигрантской среде немалый политико-интеллектуальный авторитет. А для кадетского лидера Милюкова не было, как отмечалось, угрозы больше, чем утрата четкой идентичности возглавляемой им партии.

В этом смысле «новая тактика» Милюкова, включавшая последовательное размежевание с «белым реставрационизмом», несомненно, помогла воссозданию кадетской партийной идентичности. Закономерно, что «новый курс», заново отстроивший конституционный либерализм отдельно от правого монархизма, очень быстро приобрел массу последователей из числа разбросанных кадетских групп. «Новая тактика» Милюкова не сыграла большой политической роли (как, впрочем, и любая другая антибольшевистская эмигрантская тактика в те годы), но помогла регенерации кадетского, либерально-демократического *modus vivendi*.

Как это ни парадоксально, но «новая тактика» Милюкова в значительной мере явилась воспроизведением в новых условиях традиционной, *старой* кадетской тактики. Милюков, как мы знаем, был особенно силен в разыгрывании «стандартных положений». Его новая тактика и была попыткой подстраивания под стандартное положение: в борьбе с режимом (на этот раз не царским, а большевистским) либералы используют угрозу «народной революции» в целях смягчения режима, а потому идут на союз с эсерами, некоторое время рассчитывавшими на успех своей массовой пропаганды в России. Классическая, вполне «старая» милюковская формула «*сочетание либеральной тактики с левой угрозой*» снова стала девизом либерально-демократической оппозиции.

Последние годы

В 1929 г. триумфально прошло чествование 70-летнего юбилея П. Н. Милюкова. Праздничные мероприятия в Париже, Нью-Йорке, Берлине, Праге превратились в торжества всей либерально-демократической части эмиграции. Милюковская газета «Последние новости» (издававшаяся в

Париже с 1924 по 1940 г.) на долгие годы стала бесспорным авторитетом, рупором сформировавшегося политического направления.

Однако с неменьшим основанием можно говорить о политическом и интеллектуальном одиночестве Милюкова в последние годы его жизни. Он надолго пережил своих более молодых, самых верных сподвижников — Ф. Ф. Кокошкина и А. И. Шингарева, зверски убитых большевиками в январе 1918 г. И. И. Петрункевич скончался в Праге в июне 1926 г., М. М. Винавер — в местечке Мантон-сен-Бернар во Франции несколькими месяцами позднее. Политические разногласия разделили Милюкова с братьями Долгоруковыми и Ф. И. Родичевым. Отошедший от политики Д. И. Шаховской остался в России и был расстрелян в 1939 г.

В 1930-е гг. главной задачей либералов Милюков считал терпеливое выжидание и глубокий анализ идущих в России процессов. Это, разумеется, не могло устроить его более молодых и энергичных сподвижников. Близко знавший Милюкова в те годы кадет Н. П. Вакар в своем «Дневнике» написал в 1939 г. жесткие слова о том, что Милюков «построил большое кладбище, на котором единственный живой человек он сам, сторож... Подниматься из могил не позволяет... Так и живут мертвецы. Есть среди них несколько заживо погребенных. Они бы и сбежали, да бежать некуда. Притворяются мертвыми...».

Престарелый гроссмейстер тактического маневрирования опять и опять переигрывал всех в тактике, но смысл этого маневрирования по ходу дела все более терялся — ведь никаких серьезных ставок в этой игре уже не было. В одной из последних принципиальных работ «Эмиграция на перепутье» Милюков вынужден был признать, что тактика постепенно утрачивает свое значение: «Нам сегодня нужна скорее стратегия...».

Между тем и в конце жизни П. Н. Милюков — европеист по культуре и позитивист по мировоззрению — принципиально остается при своем кредо непримиримого борца с политическим иррационализмом. Для него равно неприемлемы и «русское евразийство» (из этого кентавра, по его мнению, на-

верняка выйдет не Евразия, а Азиопа), и итальянский фашизм (знаток итальянской культуры, он был оскорблен претензиями чернорубашечников на античное наследие), и германский нацизм (презревший традицию классической немецкой рассудочности). Противостоять иррационализму и опасному мифотворчеству могут только высокая многообразная культура и политический плюрализм: здесь Милюков — последовательный сторонник западных демократий.

После оккупации немцами Парижа издание «Последних новостей» было прервано. Милюков уехал в «свободную зону» на юг Франции: жил в Виши, потом в Монпелье, весной 1941 г. обосновался в Экс-ле-Бен. Один из очевидцев последних месяцев его жизни вспоминал, что самыми важными часами для Милюкова были те, «когда он, прильнув ухом к настольному радио, ловил шепот швейцарских и лондонских передач. Душевный мир был нарушен, но воля оставалась крепкой. Высадка союзников в Африке, отступление немцев с Волги были, вероятно, его последней радостью. Вера давала силы...».

П. Н. Милюков скончался в Экс-ле-Бен 31 марта 1943 г. и был похоронен на местном кладбище. Позднее его прах был перезахоронен в семейном склепе на кладбище Батиньоль в Париже.



*Александр Александрович
Корнилов:*
«Земельная и судебная
реформы дали порядочных
русских людей в большом
числе...»

В истории российской политики и культуры есть фигуры, которые не попадают в список «главных персонажей» при беглом перечислении. Привычное разделение исторических личностей на «героев» и «злодеев», казалось, навеки лишило их законного места в истории: они были ей настолько органичны, настолько по жизни легки и неамбициозны, что верным соратникам как-то и в голову не приходило их канонизировать, а врагам — по-настоящему испугаться и проклясть. Лишь вдумчивый анализ контекста, в котором в России вообще возможна и политика, и подлинная культура, позволяет выявить действительную роль этих людей в нашей истории. К числу таких неочтенных по достоинству фигур дореволюционной российской политики и культуры несомненно относится Александр Александрович Корнилов (1862—1925). Подлинный масштаб его личности — крупнейшего историка, политика, просто глубокого и совестливого русского человека — становится понятен только спустя годы и годы...

Когда в конце 1925 г. разбросанные по миру друзья Корнилова с опозданием узнали о его смерти в Ленинграде, они сначала не могли поверить в случившееся. Бывший тогда в Париже академик В. И. Вернадский писал оставшемуся в России князю Д. И. Шаховскому: «Признаюсь, у меня даже явилось сомнение, верно ли это известие, так как оно не получило никакого отголоска в печати... Но, может быть, печать ее и не отметила?».

Александр Александрович Корнилов родился в Санкт-Петербурге 18 ноября 1862 г. в дворянской семье. Дед Кор-

нилова, военный моряк, приходился двоюродным братом знаменитому адмиралу Владимиру Алексеевичу Корнилову, участнику Наваринского (1827) и Синопского (1853) сражений, руководителю обороны Севастополя, смертельно раненному на Малаховом кургане. Отец Корнилова, тоже Александр Александрович (1834-1891), в Крымскую войну ушел на черноморский флот добровольцем; в 1857 г. принял участие в кругосветном путешествии в качестве флаг-офицера. В конце 1850-х гг. он был замечен и приближен А. В. Головниным — другом и личным секретарем великого князя Константина Николаевича, младшего брата императора Александра II, главы морского министерства и лидера дворцовой реформаторской «партии». Головнин, неформальный лидер «константиновцев» (впоследствии он стал министром народного просвещения при Александре II), возглавлял тогда редакцию знаменитого «Морского сборника» — поначалу официального органа морского министерства, сыгравшего затем большую роль в подготовке и проведении Великих реформ 1860-х гг. Повседневную редакционную работу взял на себя А. А. Корнилов: морской офицер, честный и трудолюбивый человек, он принял должность помощника редактора «Морского сборника». О влиятельности и значении этого издания на рубеже 1850—1860-х гг. говорит хотя бы тот факт, что в число активных сотрудников «Сборника» входили такие фигуры, как М. Х. Рейтерн (будущий министр финансов кабинета Великих реформ), писатель В. А. Цеэ (будущий председатель санкт-петербургского цензурного комитета), литератор и искусствовед Д. В. Григорович, врач и педагог Н. И. Пирогов и др. Н. Г. Чернышевский называл «Морской сборник» «одним из замечательнейших явлений нашей литературы», а будущий министр внутренних дел П. А. Валуев как-то написал, что иные газеты только и живут перепечатыванием статей из «Морского сборника».

В 1861 г. Александр Корнилов-старший женился на Елизавете Николаевне Супоневой, от брака с которой родились трое сыновей и пять дочерей. Небогатый дворянин, обремененный большой семьей, решил уйти из теряющего свое влияние «Морского сборника» на государственную службу.

В 1866 г. он поступил в ведомство Государственного контроля, под начало одного из старых «константиновцев» В. А. Татаринова, и далее последовательно занимал важные должности управляющего Контрольной палатой в Киеве, Кишиневе, Люблине, а в 1870 г. осел в Варшаве. С 1881 г. он — управляющий канцелярией одесского генерал-губернатора И. В. Гурко, с которым затем, с 1883 г., в той же должности работал и в Варшаве. В конце своей карьеры Корнилов-старший достиг генеральского чина тайного советника, был кавалером нескольких орденов.

Что касается Александра Корнилова-младшего, то он в 1880 г. окончил в Варшаве первую («русскую») гимназию и поступил на математический факультет Санкт-Петербургского университета, откуда затем, увлекшись гуманитарными науками, перевелся на другой факультет — юридический. В столичном университете сформировался тогда уникальный кружок единомышленников — т.н. варшавян, начинавших образование в столице Польши, а затем переехавших для продолжения учебы в Петербург. Участниками кружка были в будущем крупные русские политики и ученые Федор и Сергей Ольденбурги, князь Дмитрий Шаховской, Сергей Крыжановский и др. Еще один член этого круга, впоследствии крупный историк Иван Гревс вспоминал о молодом Корнилове: «Александр Александрович Корнилов (в компании «Адя») был человеком замечательной доброты и дружелюбия, принципиально и серьезно относившийся к жизни с юности, умный и дельный работник. Он вырос в ладной многодетной семье с несколькими младшими сестрами, о развитии души которых радел братски, почти отечески. Он искренне проникнут был патриархальными традициями теплых, крепких домашних привязанностей. Александр Александрович и на друзей переносил свою способность к глубоким интимным отношениям, становившимся почти кровными в его сердце. Он, сам всегда бесхитростный и скромный к себе, высоко ставил членов своего дружеского союза и навсегда остался для тех, кто сами сохранили основы своего духа, верным другом в жизни, незаменимым сотрудником в делах».

Если говорить о целях молодых участников студенческого «братства», то тот же И. Гревс определил их так: «Они хотели, чтобы в студенческой России вырос надпартийный, просвещенный, реально-идеальный, искренний, демократический либерализм... Они горячо любили народ, но высоко ставили миссию интеллигенции, не противопоставляя вторую первому, но и не принижая ее перед ним. Они призывали вести свою работу не разрушительным натиском, а положительным строительством. Но они предвидели в борьбе с правительством неизбежность жертвы и готовы были идти на нее. На первый же и первостепенный план выдвигали... задачи серьезного прохождения через науку: они видели, как просвещение угнетается властью».

В 1886 г. А. А. Корнилов защитил магистерскую диссертацию на тему «О значении общинного землевладения в аграрном быту народов» и спустя некоторое время получил назначение комиссаром по крестьянским делам в Конский уезд Радомской губернии Царства Польского. Здесь молодой чиновник впервые вплотную столкнулся с крестьянскими проблемами. Он потом вспоминал: «Мне шел в то время двадцать пятый год. По наружности, впрочем, я выглядел гораздо моложе. Помню даже один случай, повергший меня в то время в немалое смущение, когда пришедшие ко мне по делу крестьяне приняли меня за комиссарского сына и долго не хотели верить, что имеют дело с самим комиссаром».

Между тем Корнилову хотелось более точного приложения главной для членов «братства» идеи «народного служения»: в феврале 1892 г. он в первый раз уходит в отставку с государственной службы и в течение полутора лет отдает себя борьбе с последствиями страшного голода в Тамбовской, Воронежской и Тульской губерниях.

В 1894 г. Корнилов напечатал в «Русской мысли» ряд статей под общим заглавием «Судьба крестьянской реформы в Царстве Польском», объединенные затем в отдельном издании, привлечшем к нему внимание не только как к перспективному общественному деятелю, но и как к талантливому историку-исследователю. Тогда же Корнилов становится за-всегдаем регулярных журфиксов, которые проводились на

квартире редактора «Русской мысли» В. А. Гольцева. Здесь, помимо старых друзей (Ольденбургов, Вернадских, Шаховского) собирались и многие другие люди, сыгравшие исключительную роль в отечественной истории: С. А. Муромцев (юрист, будущий председатель Первой думы), П. Н. Милюков (историк, будущий кадетский лидер), философ и правовед П. И. Новгородцев, земские лидеры и будущие депутаты И. И. Петрункевич, Ф. И. Родичев и др.

В 1894 г. судьба (а точнее, любовь) привела А. А. Корнилова в далекий Иркутск. Дело в том, что его невеста — Наталья Антиповна Федорова («Таля»), была уроженкой Иркутска и, обучаясь на столичных Высших («Бестужевских») курсах на стипендию от городской думы, была обязана затем некоторое время отработать городской учительницей в Иркутске. Скрывая от начальства глубинные причины своей заинтересованности в службе в Восточной Сибири (невеста еще не окончила курс в столице), Корнилов добивается назначения в Иркутск делопроизводителем по крестьянским делам в канцелярию генерал-губернатора А. Д. Горемыкина.

После принятия решения об отъезде в Сибирь Корнилов писал Вернадским, не одобрявшим его намерение, что поступление на государственную службу является и для него «несомненным компромиссом»: «Сперва я думал, что лучше ехать туда независимым пролетарием и заняться там частным путем изучением Сибири вообще и аграрным вопросом в частности, а также принять участие в местной журналистике. Но потом, по всем собранным о Сибири сведениям, я ясно увидел, с одной стороны, что в качестве частного лица, да еще с ничтожными средствами трудно будет что-нибудь сделать по части изучения аграрного вопроса и вообще исследования страны; тогда как служба при известных условиях может мне дать возможность сделать то и другое... С другой стороны, после всех разговоров с сибиряками я стал опять думать, что все-таки можно служить в Сибири, если не иметь при этом в виду делать карьеру и ничем себя не связывать, т.е. служить, так сказать, с готовым всегда прощением об отставке в кармане».

Железнодорожное сообщение было в те годы только до Челябинска; далее до Кургана едущих по служебным делам

возили в товарных вагонах (300 верст состав шел сутки). Потом приходилось ехать в почтовых экипажах (значительную часть года — в зимних санях). Вот так, через Ишим, Канск, с заездом в Барнаул (для знакомства с братом невесты), Томск и Красноярск — Корнилов с одним большим чемоданом, меняя прогонных лошадей, проехал, почти не задерживаясь, 3600 верст в почтовых санях. Путь из Москвы занял 17 дней, что поразило встретивших его иркутских коллег — они не ожидали нового чиновника так скоро.

А. А. Корнилов приехал в Иркутск 1 апреля 1894 г. и на первых порах остановился в гостинице «Деко»: считавшаяся тогда лучшей в Иркутске, она показалась ему на редкость грязной. Представившись родным невесты, он преподнес им подарок из столицы — ящик с 100 апельсинами, которые были в то время в Сибири большой редкостью. Невеста приехала в Иркутск летом. «Таля» тоже была незаурядным человеком: прекрасно музицировала, свободно переводила с французского, в начале 1890-х тоже работала в отряде по борьбе с голодом — в Самарской губернии.

Свадьба состоялась 17 октября 1894 г. Молодая чета Корниловых быстро освоилась в культурной жизни Иркутска и через небольшое время стала играть в ней заметную роль. Именно по их инициативе в городе была организована бесплатная библиотека-читальня, существующая и по сей день. Мысль о ее открытии возникла еще в 1893 г. после неожиданной смерти в одной из экспедиций Александры Викторовны Потаниной — известной исследовательницы Монголии, Китая и Тибета. От средств, собранных на венки (Потанина была похоронена в Кяхте), осталось некоторое количество денег, и друзья решили положить их в основание капитала для читальни. Дело быстро двинулось благодаря энтузиазму Корниловых. Поначалу городская дума выделила под библиотеку две комнаты в здании городской управы; вскоре открылось второе отделение уже в наемном помещении, в более демократической части города, «на Горе». Здесь позднее было построено и собственное здание библиотеки, которой было присвоено имя А. В. Потаниной.

В 1894–1900 гг. А. А. Корнилов служил в Иркутске чиновником для особых поручений при генерал-губернаторе Горемыкине, занимался крестьянским вопросом, земским и переселенческим делом в Восточной Сибири. В Иркутске он стал членом Восточно-Сибирского отделения Императорского Русского географического общества, организатором «Общества попечения о распространении народного образования в Иркутской губернии», существенно расширил деятельность «Общества пособия учащимся Восточной Сибири» и «Комиссии для устройства народных чтений». Был он также участником местных либеральных кружков, редактором иркутской газеты «Восточное обозрение», основанной известным деятелем Н. М. Ядринцевым в Петербурге, принял активное участие в создании в Иркутске нового каменного театра (взамен ранее сгоревшего деревянного), был избран городской думой в число пяти директоров театра. 26 мая 1898 г. он выступил в театре с публичной лекцией о В. Г. Белинском (на 50-летие смерти литератора). Был Корнилов избран и гласным Иркутской думы, а когда городским головой стал купец В. В. Жарников, Корнилову было поручено председательствование в тех случаях, когда, согласно Городовому положению, голова не имел права лично вести заседания (например, при утверждении городского бюджета).

В 1900 г. на губернаторском посту А. Д. Горемыкина сменил А. И. Пантелеев, бывший до этого товарищем (заместителем) министра внутренних дел и руководивший жандармами. Для Корнилова это принципиально меняло дело, и он практически сразу подал в отставку. Перед его отъездом друзьями было собрано по подписке 325 рублей на устройство прощального обеда в его честь. Корнилов от банкета отказался и просил передать деньги городской библиотеке, что и было затем закреплено решением городской думы.

В своих «Воспоминаниях» Корнилов так описал свое расставание с Сибирью: «Когда я приехал в Сибирь, я думал в ней остаться года три, не больше, а прожил целых семь лет. Семь лет в возрасте от 31 до 38 лет — большое дело! Но об этом я не жалел. Это были годы быстрого роста Сибири; прошедший через Сибирь железнодорожный путь сильно перевернул все

занятия ее жителей. Мощное переселенческое движение в короткое время почти удвоило население Сибири, а проведенные в ней реформы — земельная и судебная — дали Сибири порядочных русских людей в большом числе. В прежнее время сибиряк, кончавший курс в университете, не возвращался в Сибирь, а теперь многие из чиновников были из сибиряков с высшим образованием. Русские люди, приезжавшие на службу в Сибирь, приезжали прежде главным образом нажить и назывались «навозными». Это было очень характерно. Теперь русские чиновники в Сибири, служащие по судебному или земельному ведомству, отнюдь к этому не подойдут. Прожив в Сибири семь лет, я чувствовал, что пустил корни и что расстаться с Сибирью мне не так легко... Я чувствовал, что принес пользу Сибири, насколько вообще мы можем принести ее».

После возвращения Корниловых в Санкт-Петербург на его имя стали приходить из Иркутска письма: предлагали принять участие в выборах городского головы Иркутска, стать редактором «Восточного обозрения» и т.д. В свою очередь начальник переселенческого управления министерства внутренних дел А. В. Кривошеин предложил Корнилову должность чиновника по особым поручениям при министре. Открывающиеся перспективы работы с земствами (надо держать связь с собраниями тех губерний, из которых шли переселенцы) заинтересовали Корнилова, и он, было, согласился...

Но 4 марта 1901 г. у Казанского собора мирная демонстрация молодежи была разогнана полицейскими нагайками. Участвовавший в манифестации Корнилов был среди инициаторов написания протестного письма, которое опубликовали несколько иностранных газет. Последовал арест: Корнилов отсидел двадцать дней в петербургских «Крестах», затем был выпущен с подпиской о невыезде. Решением министра внутренних дел ему было воспрещено жить в столичных губерниях и университетских городах. Тогда он принял предложение из Саратова, где известный либеральный земский деятель Н. Н. Львов приобрел газету «Саратовский дневник» и подыскивал сильного редактора. Фактически

под руководством Львова, блестящего знатока аграрного вопроса, в Саратове сложился тогда своеобразный научно-издательский центр по проблемам реформаторства в аграрной сфере (именно в Саратове, например, была впервые издана в 1907 г. знаменитая книга «Вымирающая деревня» молодого тогда А. И. Шингарева — будущего кадетского лидера, а потом и министра Временного правительства).

«Саратовский дневник» просуществовал недолго. В середине 1902 г. губернские власти приостановили издание и предписали Львову кардинально переменить состав редакции. Лишившись журналистского заработка, Корнилов, не без влияния того же Львова, возвращается в Саратове к научной работе. Здесь он пишет ряд работ по истории крестьянской реформы, общественному движению в эпоху Александра II, истории декабристского движения. В 1904 г., получив наконец свободу передвижения, Корнилов посещает столицы, а затем уезжает в Париж к П. Б. Струве, которому помогает в редактировании оппозиционного неподцензурного журнала «Освобождение».

В это время у жены Корнилова, «Тали», обострился туберкулез, и ее поместили в швейцарскую клинику. Несколько месяцев спустя она скончалась и была похоронена по православному обряду (был приглашен русский священник из Берна) на кладбище в Террите, с которого открывается прекрасный вид на Женевское озеро...

Между тем А. А. Корнилов, постепенно расширяя круг знакомств в российской политической и литературной среде, оказывается в самом центре либеральной общественной жизни. Он принял активное участие в работе первых либеральных кружков («Беседы», например) и политических организаций (в первую очередь «Союза освобождения»). После дарования императором Высочайшего манифеста 17 октября 1905 г., фактически легализовавшего в России политическую деятельность, Корнилов принял активное участие в создании Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы), в которой вскоре был избран секретарем ЦК, отвечающим за все делопроизводство и формирование региональных организаций. Неоспоримо значение Корни-

лова-организатора в успешных избирательных кампаниях кадетской партии по выборам в I и II Государственные думы. Его ключевая роль в партии еще более усилилась после создания в первых Думах крупных кадетских фракций: на плечи Корнилова, принципиально отказывающегося от депутатства, легла многообразная повседневная работа, ранее распределявшаяся между такими признанными организаторами (ставшими депутатами), как Д. Шаховской, И. Петрункевич, братья Петр и Павел Долгоруковы, М. Челноков и др.

Впечатляет даже самый краткий перечень постов и функций А. А. Корнилова в кадетской партии: на Первом съезде (октябрь 1905 г.) он избирается в Бюро съезда, а затем в ЦК партии. На Втором съезде (январь 1906 г.) он уже в качестве секретаря ЦК делает основной доклад по организационным вопросам; на Третьем съезде (апрель 1906 г.) — доклад «О внепарламентской деятельности партии»; на Четвертом (сентябрь 1906 г.) — доклад по организационным вопросам; на Пятом (октябрь 1907 г.) — Отчетный доклад Центрального комитета за 1905—1907 гг. Помимо этого Корнилов возглавляет редакцию «Думского листка» — политического органа кадетской партии.

В 1908 г. он вторично женился — на младшей сестре первой жены Екатерине. Когда, после рождения дочери, Корнилов сложил с себя обязанности секретаря ЦК и временно отошел от большой политики, председатель кадетской партии князь Павел Долгоруков написал ему: «Признаю логичность Вашей мотивировки к отставке. С другой стороны, нахожу Ваш уход из секретарей ужасным ударом по партии, так как, разумеется, никого подобного Вам не найдем».

В 1908—1910 гг. Корнилов полностью посвящает себя преподавательской и научной работе: он читает курс российской истории XIX века в Петербургском политехническом институте, в Педагогической академии и на Высших коммерческих курсах М. В. Побединского. (Впоследствии «Курс» Корнилова принес ему широкую известность в научных и педагогических кругах: он неоднократно переводился в России, Англии, США.) В те же годы Корнилов-историк плодотворно занимается новыми темами: Отечественной

войной 1812 г., эпохой Александра I, творчеством Михаила Бакунина и Александра Герцена.

В декабре 1915 г., на Шестом съезде кадетской партии Корнилов снова делает развернутый доклад об организационной деятельности партии (в течение двух с половиной часов!) и снова единогласно избирается секретарем ЦК. А после гибели на Первой мировой войне лидера петроградских кадетов А. В. Колубакина он становится еще и руководителем столичной партийной организации. Вспоминая те месяцы, Корнилов писал: «Моя работа в это время была так сложна и многообразна, что ее всего удобнее можно сравнить с беганием белки в колесе».

Действительно, в то время Корнилов успевал все: он участвовал во всех заседаниях кадетской думской фракции, руководил продовольственной комиссией ЦК партии, участвовал в работе нескольких других комиссий, был членом Совета петроградского попечительства о бедных (в первую очередь об инвалидах войны и семьях фронтовиков), членом Петроградского областного комитета по снаряжению армии. «Вследствие усиленной деятельности и, в особенности, вследствие непосильной мозговой работы, часто продолжавшейся до трех, до четырех часов ночи, — вспоминал Корнилов, — я и во сне продолжал обдумывать все те вопросы, которые обсуждал среди дня: засыпая, я продолжал думать все о них же, причем, переплетаясь в причудливые комбинации, мысли мои во сне гораздо ярче, чем наяву, вырабатывали иной раз удивительные выводы, которые, однако, я потом никак не мог уловить... Увы, тогда я не чувствовал, что это были, может быть, предвестники постигших меня через несколько месяцев апоплексических ударов».

После Февральской революции 1917 г. Корнилов, помимо активной работы в партии, был, как признанный знаток крестьянского вопроса, назначен сенатором Второго («крестьянского») департамента Сената. Тяжелейшая, не оставлявшая времени на отдых работа, при уже солидном возрасте, надломила его здоровье. В ночь с 2 на 3 июля 1917 г., прямо на заседании кадетского ЦК, рассматривавшего вопрос о выходе кадетских министров из состава Временного прави-

тельства, с Корниловым случился первый удар; через шесть дней — второй.

В сентябре он, сопровождаемый своим учеником, сыном В. И. Вернадского — Георгием Владимировичем (будущим выдающимся историком-эмигрантом) отправился с семьей в Кисловодск. Там Корниловы, несмотря на периодическую помощь друзей, бедствовали. Дочь «Тала» писала в своем детском дневнике: «Живем в одной комнате, правда, порядочной и теплой, но сырой. Все углы заплесневели».

Очевидно, что и после окончательного поражения белых Корнилов не помышлял всерьез об эмиграции: мешало нездоровье, да и к тому же самые близкие и старинные его друзья (Дмитрий Шаховской, Сергей Ольденбург, Иван Гревс) остались в России, пытаясь сохранить элементы высокой культуры на обольшевиченной родине. В Кисловодске Корнилов пытался зарабатывать лекциями в Народном университете; согревал ему душу и тот факт, что в 1918 г. его знаменитый «Курс истории России XIX века» был переиздан в России.

Летом 1921 г. А. А. Корнилов возвращается в Петроград, где продолжает читать лекции по отечественной истории в Политехническом институте. В 1922 г. он, совсем больной, окончательно оставляет службу и живет на мизерную пенсию. Он скончался 26 апреля 1925 г.

...Старинный друг Корнилова, князь Дмитрий Иванович Шаховской, все последние годы своей жизни (он был расстрелян большевиками в 1939 г.) много хлопотал о бережном сохранении литературно-исторического наследия Корнилова — «для русской исторической науки и назидания подрастающего поколения». «Ведь это самое лучшее, что у нас есть в этой области, — писал Шаховской, — и надо непременно облегчить всячески использование этого для поколения, которое без сознательного понимания пройденного Россией за последние сто лет пути будет жалким болтуном и тягостным и для себя и для других грузом».



**Иван Павлович
Алексинский:**
«Недопустима для
русского сознания утрата
надежды победы жизни
над смертью...»

Предисловие

Иван Павлович Алексинский родился 3 мая 1871 г. в селе Опарине Александровского уезда Владимирской губернии (сейчас это Сергиево-Посадский район Московской области).

Опарино, стоящее на высоком берегу речки Вели (притока Дубны), — место, богатое историей. В начале XVII в. село входило в вотчинный надел князя Юрия Яншеевича Сулешова — сына перешедшего на русскую службу Янши-мурзы, брата крымского хана. Юрий Сулешов (р. ок. 1584 г.) был крещен в православие в царствование Бориса Годунова, был командиром русских земских ополчений, воевавших против войск самозванцев в Смутное время. В торжестве венчания на царство царя Михаила Романова 11 июля 1613 г. Юрий Сулешов шел в процессии перед царем первым из 10 стольников. А когда 11 и 13 июля были у Государя пиры, «в большой стол смотрел стольник князь Ярья Еншин мурзин сын Сулешов». При Михаиле Федоровиче князь Сулешов руководил Сыскным и Разбойным приказами, был воеводой в Сибири. Перед смертью, не имея наследников, он завещал часть своих земель князю Якову Черкасскому, близкому родственнику своей первой жены. Так Опарино в 1643 г. переходит во владение князей Черкасских — потомков кабардинского князя Идара-мурзы.

Яков (Урусхан) Куденетович Черкасский — ближний боярин и любимый воевода царя Алексея Михайловича. Его сын Михаил Яковлевич — воевода в Тобольске, управ-

лявший Сибирью при Петре Великом. Алексей Михайлович Черкасский унаследовал от отца губернаторство в Сибири, был министром, затем канцлером Российской империи. Дочь Михаила Черкасского, Анна, вышла в 1721 г. замуж за «рюриковича» — князя Никиту Ивановича Долгорукова; село Опарино переходит к представителям «второй ветви» древнейшего княжеского рода Долгоруковых, идущей от Федора Владимировича Большого — внука родоначальника, князя Ивана Андреевича Оболенского, прозванного за свою мстительность «Долгоруким» (17-е колено от Рюрика).

При князе Сергее Никитиче Долгорукове, армейском капитане, в Опарине была построена величественная каменная церковь Богоявления, чья пятиярусная колокольня была одной из самых высоких в России. В сентябре 1767 г. церковь была освящена в присутствии императрицы Екатерины Великой (тот год она в основном провела в Москве, занимаясь главным образом делами Уложенной комиссии — первого опыта российского парламентаризма)*.

Сын Сергея Никитича, князь Никита Сергеевич Долгоруков, гвардии подпоручик, также много сделал для благоустройства села Опарина. Но его единственный сын, князь Сергей Никитич Долгоруков 2-й, был глубоко больным человеком, потомства не оставил — на нем «вторая ветвь» князей Долгоруковых обрывается. После смерти в 1861 г. вдовы Никиты Сергеевича, княгини Екатерины Гавриловны (урожденной княжны Гагариной), владельцами Опарина становятся сначала родственники Долгоруковых — Соковнины, а затем породнившиеся с ними дворяне Алексинские. Последним в их ряду и стал Иван Павлович Алексинский (1871–1945) — сын Павла Алексинского и Софьи Соковниной.

* В 1962 г. Церковь Богоявления в с. Опарине была варварски разрушена под предлогом «угрозы обрушения». В настоящее время этот знаменитый храм успешно восстанавливается благодаря усилиям местной церковной общины и специально созданного благотворительного фонда.

Ранние годы

В 1889 г., после окончания гимназии в Москве, Иван Павлович Алексинский поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета, однако через год, увлеченный недавно вышедшими «Дневниками» врача-гуманиста Николая Ивановича Пирогова, перевелся на медицинский факультет. Жизнь и идеи Пирогова, основателя военно-полевой хирургии, участника обороны Севастополя, франко-прусской и русско-турецкой войн, выдающегося исследователя в области анатомии, прогрессивного общественного деятеля эпохи Великих реформ и оригинального мыслителя, стали для юного студента-медика образцом для подражания. Среди любимых университетских профессоров Ивана Алексинского — другие крупнейшие ученые: анатом Д. Н. Зернов, физиолог Л. З. Молоховец, гистолог А. И. Бабухин, физик А. Г. Столетов.

В 1894 г. Иван Алексинский с блеском завершил университетский курс и был оставлен при факультете для подготовки диссертации; одновременно он работает ординатором университетской хирургической клиники под руководством профессора А. А. Боброва. В 1895 г. происходит важное для молодого ученого и врача событие: он становится врачом-консультантом Иверской общины сестер милосердия Красного Креста, с которой будет тесно связана его дальнейшая жизнь. В этом поступке также, несомненно, сказался пример Пирогова: ведь когда-то именно Н. И. Пирогов, при содействии Великой княгини Елены Павловны, стал инициатором отправки в осажденный Севастополь первых отрядов сестер милосердия из петербургской Крестовоздвиженской и московской Никольской общин.

Иверская община Красного Креста была открыта в Москве 19 декабря 1894 г. (в день тезоименитства восшедшего на престол императора Николая II) в честь известной в Москве святыни — чудотворной Иверской иконы Божьей Матери. Почетными попечителями общины стали дядя царя, генерал-губернатор Москвы Великий князь Сергей Александрович и его супруга, Великая княгиня Елизавета Федоровна.

На Малой Якиманке в Москве было приобретено и оборудовано двухэтажное здание; в октябре 1896 г. на территории общины был заложен храм в честь Иверской иконы Божьей Матери (освящен в апреле 1901 г.).

Врач-доброволец на Балканах и Дальнем Востоке

К 1897 г. относится первая организованная Иверской общиной крупная международная акция, в которой самое активное участие принял молодой врач Иван Алексинский. В тот год началась греко-турецкая война из-за острова Крит, и Россия, вопреки ожиданиям, не поддержала на этот раз территориальные претензии Греции к Османской Порте, выступив в качестве посредника между воюющими сторонами. Нейтральный статус России был подчеркнут серией действий, инициированных из самого близкого окружения императора. В середине апреля 1897 г. Великий князь Сергей Александрович поручил своему адъютанту, штабс-капитану В. Ф. Джунковскому возглавить санитарный отряд Иверской общины на турецкую сторону военных действий (аналогичный отряд был организован в Санкт-Петербурге для работы на греческой стороне). Старшим врачом московского отряда стал приват-доцент Императорского университета, доктор медицины И. П. Ланг; в списке врачей значился и «лекарь-доброволец» Иван Павлович Алексинский.

23 апреля в помещении Общины в присутствии Великой княгини Елизаветы Федоровны был отслужен напутственный молебен; Ее Высочество благословила каждого из отъезжающих образком Иверской Божьей Матери. Московский санитарный отряд добрался на поезде до Одессы, потом на пароходе «Королева Ольга» — до Стамбула, а затем был переправлен в район Фарсалы (Фессалия), где тогда начались тяжелые бои. Очевидец писал: «Турецкие командиры смотрели на солдата как на машину; стоило ему быть раненным, он становился уже бесполезен, и его бросали... Медицинскую помощь туркам оказывали французские доктора. Главный французский врач Ларди сам ездил на поле сражения

перевязывать раненых, поскольку больше этим никто не занимался... Своих перевязочных пунктов у турок не было... Для русского госпиталя был предоставлен дом греческого наследного принца... Через некоторое время в доме уже не было свободного места, раненых стали класть в саду и просто на улице, где многим пришлось провести сутки и более. Раненые, которых уже в первый день привезено было более трехсот, буквально лежали друг на друге, пол был залит лужами крови, по дому чувствовался гнилостный запах. Весь первый день в трех комнатах дома шла перевязка и ампутации. Все без исключения члены русского отряда переносили раненых, держали их во время операций, кормили. Не привыкшие к такой заботе турецкие солдаты необычайно ценили всякое проявление внимания к ним и были преисполнены благодарности».

В начале июня 1897 г., когда бои под Фарсалою затихли, госпиталь был свернут и санитарный отряд переведен в Стамбул, где русские врачи были встречены как герои: турецкий султан предложил им стать его личными гостями. Работа продолжалась в стамбульских госпиталях, куда теперь привозили раненых. В эти дни главный врач отряда Иван Петрович Ланг заразился от раненых тифом и вскоре скончался. Тяжело переболел тифом и Иван Алексинский.

В Москву отряд вернулся в середине июля 1897 г.; И. П. Алексинский был награжден орденом св. Анны III степени. В числе его наград были также греческие Золотая и Серебряная медали Илитаза и почетная турецкая Серебряная медаль: их наличие через двадцать лет, после эвакуации белой армии барона П. Н. Врангеля в Константинополь, будет открывать ближайшему соратнику Врангеля, старшему товарищу (первому заместителю) председателя Русского совета Ивану Алексинскому двери самых влиятельных домов и канцелярий.

В 1900 г. состоялась новая командировка врача Ивана Алексинского на театр военных действий. Русские войска, выполняя межгосударственное соглашение, участвовали тогда в подавлении Ихэтуаньского («боксерского») восстания в Китае. Летом санитарный отряд под руководством Алексинского, теперь уже доктора медицины и приват-доцента,

был отправлен в Забайкалье и развернул лазарет в Благовещенске; в сентябре отряд был переправлен в Хабаровск. Вернувшийся в начале 1901 г. в Москву И. П. Алексинский был награжден орденом св. Анны II степени. (Интересно, что в те месяцы под началом Алексинского на русско-китайской границе работал его товарищ по хирургической клинике профессора Боброва Николай Сергеевич Коротков, впоследствии прославившийся работами по артериальному давлению. Пути коллег потом кардинально разошлись: в отличие от одного из лидеров белой эмиграции Алексинского, Николай Коротков остался в России, работал главным врачом Мечниковской больницы в Петрограде и скончался от туберкулеза в 1920 г.)

Вернувшийся для отдыха в родное Опарино молодой герой-фронтовик Иван Алексинский избирается в Александровское уездное земство, работает земским гласным два срока, до 1906 г., когда произойдет взлет его политической биографии. Пока же он вкладывает много сил в дело местного народного образования (на его средства в Опарине построена земская школа) и продолжает врачебную карьеру в Москве — в качестве приват-доцента медицинского факультета Московского университета, заведующего отделением факультетской хирургической клиники, редактора журнала «Русское хирургическое обозрение».

Первая дума.

Вопрос о судьбе русской армии

После объявления императорского Манифеста 17 октября 1905 г. и начала формирования в России политических партий И. П. Алексинский примыкает к конституционным демократам (Партии народной свободы). Весной 1906 г. он избирается депутатом Первой Государственной думы от Владимирской губернии (вместе с ним от владимирских кадетов в Думу проходят известные общественные деятели М. Г. Комиссаров и К. К. Черносвитов).

Тридцатипятилетний депутат от Александровского уезда не затерялся среди корифеев Первой думы: три раза Иван

Алексинский всходил на думскую трибуну, и все три раза это были серьезные концептуальные выступления, имевшие большой резонанс.

В первый раз И. П. Алексинский включился в дискуссию, связанную с подготовкой «ответного адреса» Думы на тронную речь императора. Содержание и стилистика этого выступления Алексинского заставляют предположить, что оно вряд ли было согласовано с лидерами кадетской фракции. Действительно, в проекте «ответного адреса» Думы императору, подготовленного в основном кадетами, ничего не говорилось о некоторых важных сторонах русской жизни, например о внешней политике, состоянии армии и флота и пр. Формально это объяснялось тем, что эти (и некоторые другие) важнейшие сферы были выведены, в соответствии с Основными законами Российской империи, из компетенции народного представительства и определялись исключительно царем. С этим, однако, не могли согласиться некоторые либеральные депутаты. Так, лидер Партии демократических реформ профессор М. М. Ковалевский посчитал необходимым очертить в «ответном адресе» хотя бы главные принципы внешней политики теперь уже конституционного (хотя и монархического) государства. Проблематику же армии и флота взял на себя близко знавший этот предмет владимирский депутат Иван Алексинский.

В своем выступлении 3 мая 1905 г. Алексинский отметил, что ему непонятны «умолчание в ответном адресе по одному из важнейших вопросов государственной жизни» и «забвение о целом классе русского народа, живущем в особенных условиях, настоящее положение которого никоим образом не может быть признано нормальным». По мнению Алексинского, вопрос об армии и флоте — принципиальный для текущего момента. Он напомнил, что политический кризис и революция, давшие России и Конституцию, и Думу, стали прямым следствием краха военно-бюрократического режима, позорно проигравшего русско-японскую войну. «Порт-Артур, Ляолян, Мукден, Цусима — все это преступления военной бюрократии», — заявил с думской трибуны Алексинский. А потому, отметил он, «мы не можем

оставить без особого внимания то ведомство, в котором как раньше, так и в настоящее время царит в полной силе ненавистный бюрократический режим, то ведомство, где под покровом этого режима и военной дисциплины произвол и насилие узаконены, где содеяно много преступлений против народа».

«В чем же гарантия того, что в будущем в военном и военно-морском ведомстве будут изменения к лучшему, что народные деньги будут расходоваться действительно на то, на что они ассигнованы? — поставил вопрос Алексинский. — Где гарантии того, что Монарху будет докладываться министрами истинное положение дел?». По мнению оратора, единственная гарантия реформирования армии и флота — их перевод под контроль народного представительства. «Народ, дающий трудовые деньги на содержание армии, должен знать, на что и как расходуются эти деньги; народ, посылающий в ряды армии своих сыновей, имеет право заботиться об их дальнейшей судьбе... Опыт последней войны показал с очевидностью, как мало ценила военная бюрократия жизнь офицеров и солдат, как на суше, так и на море; в жертву преступной неподготовленности к войне было принесено множество молодых жизней».

Преступный проигрыш войны — прямое следствие преступного отношения к армии, ее использования во внутриполитических целях: «Мы видели разгром русской армии на Дальнем Востоке, и в то же время мы видели здесь, как военная бюрократия посылала солдат — сынов народа — расстреливать народ, шедший к своему Царю; такие расстрелы шли во многих городах, во многих концах России. Господа депутаты, для возрождения нашей армии, для восстановления ее связи с народом она должна находиться в ведении народа».

Депутат-фронтвик Иван Алексинский предложил существенно дополнить «ответный адрес» монарху указанием на необходимость немедленной реорганизации военно-морских ведомств и их подконтрольности Государственной думе: «Для поселения в армии истинных представлений о правах народа, о долге солдата-гражданина перед отечеством,

для внесения в армию общего и специального образования необходимо военное и морское министерства подчинить народному контролю».

По мнению депутата, волнения в войсках в Кронштадте, Москве, Киеве, Севастополе, Владивостоке, Красноярске, Харбине и других городах свидетельствуют не только о необходимости «укрепления дисциплины» (о чем не уставало твердить высшее военное руководство), но прежде всего — о необходимости «упорядочения правовых отношений»: «Дисциплина необходима, но она должна зиждиться на сознании долга перед народом, а не только на одном страхе. Если дисциплина поддерживается только страхом, если солдатам приказывают расстреливать родной народ, заставляют быть палачами его под угрозой быть расстрелянными самим, тогда дисциплина становится невыносимой. Я думаю, что этим обуславливается так называемая деморализация армии. Я думаю, что это не деморализация, а пробуждение сознания того, что солдаты — дети своей родины, что интересы народа дороги солдату, что права народа дороги солдату».

В стенограмме думского заседания после этой сильной речи Ивана Алексинского нет привычной пометки «аплодисменты». И вряд ли это упущение стенографистов. Умеренных депутатов, склонных к компромиссам с режимом, не могла увлечь беспощадная критика полицейско-бюрократических порядков. Что же касается радикального большинства Думы, то для него армия была одним из самых, мягко говоря, непопулярных государственных институтов и брать ее под защиту (даже от того же самого «режима») было весьма рискованно. Так или иначе, поправки Алексинского так и не вошли в окончательный текст думского «ответного адреса» — возможно, именно в подобных эпизодах и накапливались аргументы в пользу последующего расхождения Алексинского с кадетами. Очевидно другое: потомственный дворянин Иван Алексинский, в чьем роду было немало военных, который сам познал тяжелую жизнь армии, через всю свою биографию пронес глубокое уважение к военному сословию. Это впоследствии ярко проявится в его деятельности в Белом движении, а затем и в эмиграции.

Первая дума. Вопрос об отношении к правительству

Следующее выступление Ивана Алексинского в Первой думе связано с разгоревшейся полемикой вокруг депутатских запросов членам правительства. 8 июня 1906 г. перед депутатами выступили главы министерств юстиции и внутренних дел И. Г. Щегловитов и П. А. Столыпин. Столыпин, в частности, заявил, что существующие законы надо, наверное, совершенствовать, но пока следует четко применять существующие законы. Он даже привел такую метафору: «Нельзя сказать часовому: у тебя старое кремневое ружье; употребляя его, ты можешь ранить себя и посторонних; брось ружье. На это честный часовой ответит: покуда я на посту, покуда мне не дали нового ружья, я буду стараться умело действовать старым».

Многие члены Государственной думы восприняли объяснения Столыпина как попытку уйти от содержательного ответа на депутатские запросы. Взявший 9 июня слово Иван Алексинский вступил в прямую полемику с министром, по-своему интерпретировав столыпинскую метафору о «часовом и старом ружье»: «Господа министры вчера подтвердили, что хотя у них и негодные ружья, но они будут стоять на своем посту, потому что поставлены здесь». Алексинский объявил «бессмысленной» дальнейшую переписку с министерствами, которые фактически проигнорировали уже более ста запросов депутатов. «Мы сюда пришли не для словесного турнира с господами министрами и не для поучения их, — заявил Алексинский. — Мы пришли сюда заявить волю народа, до сих пор еще не исполненную, мы пришли сюда для того, чтобы завоевать ту свободу, которой еще нет, и завоевать те права народа, которых еще нет». Депутат сообщил, что ему идут и идут письма («приговоры») из родного Александровского уезда, в которых крестьяне «клянутся поддерживать Думу, поддерживать представителей своих требований, каких бы жертв это ни стоило». Вся вина за гражданскую конфронтацию в России лежит на исполнительной власти, которая сама провоцирует массовые волнения. Единственный способ избежать новых опасностей — радикально обновить состав прави-

тельства, поставив его под контроль парламента: «Господа, в своем стремлении к мирному осуществлению реформ в России мы должны употребить все усилия на то, чтобы устранить с мирного пути реформ те препятствия, которые стоят на нем; и главное препятствие я вижу в том, что исполнительная власть, не пользующаяся доверием народа, остается у власти... Государственная дума должна воспользоваться своим правом, она должна обратиться к Монарху, которому, вероятно, неизвестно истинное положение страны... Я предлагаю объявить Верховной власти об истинном положении вещей, заявить от имени Государственной думы о необходимости для сохранения спокойствия России и предотвращения грядущих бедствий устранить теперешнее министерство, повторить, что только министерство, которое пользуется доверием Государственной думы, способно вселить народу уважение к правительству. (*Аплодисменты*)».

В полемическом ключе выдержано и третье (и, как оказалось, последнее) выступление И. П. Алексинского в Первой Государственной думе 19 июня 1906 г. Поводом к этому выступлению явилась речь в Думе главного военного прокурора генерал-лейтенанта В. П. Павлова, которого Дума считала одним из основных виновников незаконных репрессий и которого парламентарии (точнее их кадетско-трудовическое большинство) фактически согнали с трибуны, устроив ему обструкцию. Некоторые влиятельные депутаты, представляющие умеренно-либеральную партию «Союз 17 октября» (граф П. А. Гейден, князь Н. С. Волконский), в свойственной им снисходительно-увещательной манере, попытались умирить пыл своих более молодых и радикальных коллег-депутатов, призвать думцев к корректности в отношении представителей императора, мотивируя это опасностью нового обострения напряженности в стране. Алексинский резко возразил «октябристам», заявив, что конфронтацию провоцируют как раз утраченные остатки общественного доверия министры: «Мы слышали сейчас замечания, что тем, что мы не даем говорить Павлову и подобным, что тем, что мы их «топим», мы этим угрожаем призраками кровопролития в стране. Эти слова несправедливы; напротив, все наши усилия направлены для про-

ведения реформ мирным путем; мы должны приложить все усилия к тому, чтобы устранить эти препятствия, устранить этих безумных, слепых людей, которые цепляются за власть и которые не могут привести в исполнение то, что требует воля народа. Нет, господа, я говорю, наш долг, главный наш долг — не удерживать их и именно настоять на том, чтобы они ушли с тех мест, которые занимают не по праву и против воли народа. (*Аплодисменты*)».

Возвращение в медицину

Как известно, Первая Государственная дума просуществовала всего 72 дня. После ее роспуска и принятия в Выборге антиправительственного «Воззвания» И. П. Алексинский был привлечен к дознанию в качестве обвиняемого по ст. 129 Уголовного уложения и был отдан под особый надзор полиции. Со своей стороны, не удовлетворенный политической конституционных демократов, Алексинский отказался сотрудничать с кадетами на выборах во Вторую думу и в конце 1906 г. вступил в либерально-народническую «Народно-социалистическую партию» (после объединения «энесов» с «трудовиками» он был избран членом ЦК объединенной Трудовой народно-социалистической партии).

После недолгого парламентского опыта Алексинского более привлекает научно-педагогическая карьера. В июле 1907 г. он назначается экстраординарным профессором по кафедре хирургической патологии Московского университета, а в декабре того же года занимает должность главного врача Иверской общины Красного Креста. Его авторитет в российской медицинской среде неуклонно растет: Иван Алексинский избирается членом правления Общества российских хирургов.

В начале 1911 г. по инициативе премьер-министра П. А. Столыпина и министра образования Л. А. Кассо начинается правительственный поход против «университетской вольницы»: правительство посчитало именно студенческую среду главным источником все еще сохраняющейся крамолы. Во все университеты был разослан циркуляр, предписывающий «принять меры для установления действительного надзора за

учащимися»; далее следовало предупреждение, что неисполнение этих требований «приведет общегосударственную власть к необходимости принятия особых мер к упорядочению внутренней жизни высших учебных заведений». Временно запрещались все собрания на территории университетов, что наносило удар не только по принципам их автономии, но и было равнозначно запрещению всех, даже легальных, студенческих организаций. Волнения молодежи усилились, и на территорию некоторых университетов была введена полиция.

28 января ректор Московского университета А. А. Мануйлов и его заместители П. А. Минаков и М. А. Мензбир подали в отставку. В ответ Высочайшим указом все трое были не только уволены с постов, но и отрешены от профессорских должностей. 3 февраля в знак солидарности подали в отставку несколько выдающихся профессоров Московского университета (В. И. Вернадский, Н. А. Умов, В. А. Хвостов, С. А. Чаплыгин, Г. Ф. Шершеневич, Д. М. Петрушевский, А. А. Эйхенвальд) и большая группа приват-доцентов. Подал в отставку и профессор медицинского факультета Иван Алексинский.

Несмотря на все зигзаги судьбы, Алексинский через всю жизнь пронес горячую любовь к своей alma mater: в январе 1930 г., уже в эмиграции в Париже, он станет членом президиума Юбилейного комитета по празднованию 175-летней годовщины со дня основания Московского университета. А пока, в 1911 г., отлученный от университета, он продолжил свою преподавательскую работу на медицинском отделении Высших женских курсов (здесь училась пошедшая по стопам отца дочь Алексинского Надежда), сочетая профессорскую деятельность с активной практикой в больнице Иверской общины. Большую известность в Москве получила и частная хирургическая клиника Алексинского. В 1913 г. он председательствовал на 8-м съезде российских хирургов.

В начале Первой мировой войны И. П. Алексинского призвали на военную службу: он заведовал медицинской частью Красного Креста сначала на Юго-Западном фронте, а затем в тыловых частях, активно работал в качестве главврача клиники Иверской общины, превратившейся, по сути дела, в военный госпиталь.

В рядах антибольшевистского сопротивления в Москве

После Февральской революции И. П. Алексинский вернулся в Московский университет и был зачислен на должность профессора по кафедре хирургической патологии. Вскоре на него были возложены еще и обязанности директора университетской андрологической клиники. Когда в начале октября 1917 г. низший медицинский персонал московских больниц и клиник, подпавший под влияние большевистских агитаторов, объявил забастовку, Алексинский решительно выступил против, считая бесчеловечным отказ санитаров оказывать помощь больным и раненым.

Ивану Алексинскому довелось сыграть активную роль в деле сопротивления большевистскому перевороту в Москве в октябре-ноябре 1917 г. Как известно, главную силу этого сопротивления составила московская молодежь: юнкера Александровского и Алексеевского училищ, учащиеся школ прапорщиков и кадетских корпусов, гимназисты старших классов, студенты, курсистки. Руководил антибольшевистской борьбой «Комитет общественной безопасности» во главе с председателем Московской городской думы, городским головой доктором В. В. Рудневым. (В 1900–1902 гг. Руднев учился в Москве на медицинском факультете и в том числе посещал лекции и семинары тогда еще приват-доцента Алексинского; доучиваться Рудневу — после ареста и ссылки — пришлось уже в швейцарском Базеле.) В эти драматические дни врач Иван Алексинский снова оказался «на передовой», прошедшей на этот раз через самый центр Москвы. Его частная клиника, равно как и больница Иверской общины, были превращены в госпитали; Алексинский ежедневно лично делал сложные операции...

2 ноября 1917 г., после кровопролитных боев, «Комитет общественной безопасности» капитулировал; на следующий день отряды большевистского Военно-революционного комитета вступили в Кремль. Начались репрессии, приостановить которые на непродолжительное время смог проходивший тогда в Москве Поместный собор Русской православ-

ной церкви, избравший своего патриарха. На заседании Собора 11 ноября было оглашено следующее обращение: «Священный Собор во всеуслышание заявляет: довольно братской крови, довольно злобы и ненависти... Победители, кто бы вы ни были и во имя чего бы вы ни боролись, не оскверняйте Россию пролитием братской крови, умерщвлением беззащитных, мучительством страждущих».

Благодаря посредничеству Церкви, 13 ноября удалось провести похороны жертв большевистского переворота. В девять часов утра в церкви Большого Вознесения у Никитских ворот началось отпевание. Надгробную речь произнес митрополит Евлогий (Георгиевский). В своих мемуарах он потом напишет: «Помню тяжелую картину этого отпевания. Рядами стоят открытые гробы... Весь храм заставлен ими, только в середине — проход. В гробах покоятся, словно срезанные цветы, молодые, красивые, только что расцветшие жизни: юнкера, студенты. У дорогих останков толпятся матери, сестры, невесты... Я был потрясен. В надгробном слове я указал на злую иронию судьбы: молодежь, которая домогалась политической свободы, так горячо и жертвенно за нее боролась, готова была даже на акты террора, пала первая жертвой осуществившейся мечты».

Около полудня все улицы, прилегающие к Никитским воротам, были запружены народом. Трамвайное движение было перекрыто. Траурную процессию возглавили архиереи и хор певчих; за ними на руках несли некрашенные гробы, накрытые только еловыми ветками и скромными букетами белых хризантем. Венков не было. Погода в тот день, по рассказам участников, была ужасной: пронизывающий ветер, мокрый снег, слякоть... Вдоль Тверского бульвара, через Страстную площадь и далее по Тверской улице и Петроградскому шоссе огромная процессия направилась на кладбище села Всехсвятского (в районе нынешних Песчаных улиц). Это было известное в Москве братское кладбище для воинов, павших в войну 1914 г., и для сестер милосердия московских общин Красного Креста, созданное в начале мировой войны по инициативе Великой княгини Елизаветы Федоровны. Иван Павлович Алексинский сказал речь на траурном ми-

тинге; вторую речь произнес низложенный большевиками городской голова В. В. Руднев. (Сегодня на сохранившемся участке кладбища у храма Всех Святых рядом со станцией метро «Сокол» можно увидеть мемориальный крест с надписью: «Юнкера. Мы погибли за нашу и вашу свободу».)

Спустя несколько месяцев после большевистского переворота до Москвы начали доходить подробности мученической гибели членов императорской фамилии. Особую боль у Алексинского вызвало известие о зверском убийстве Великой княгини Елизаветы Федоровны (она была живой сброшена большевиками в старую шахту под Алапаевском) — покровительницы Иверской общины и личного друга Алексинского, которая неоднократно ассистировала ему простой медсестрой при хирургических операциях. (После занятия белыми войсками района убийства останки Елизаветы Федоровны были переправлены в Пекин, а затем в Иерусалим, где были погребены в усыпальнице церкви Святой Равноапостольной Марии Магдалины у подножия Елеонской горы. В 2004–2005 гг. мощи святой Преподобномученицы Елизаветы Федоровны в течение семи месяцев торжественно перевозились по городам России; в церемониях приняли участие более 10 млн верующих.)

Рядом с бароном Врангелем. «Русский совет»

В начале 1919 г. И. П. Алексинский выехал из Москвы на Юг в расположение Добровольческой армии А. И. Деникина; работал хирургом в военных госпиталях. В конце 1920 г. вместе с отступающими войсками П. Н. Врангеля эвакуировался из Крыма в Константинополь. В первые годы эмиграции он снова активно занялся политикой. Иван Алексинский стал одним из ближайших политических соратников и личных друзей генерал-лейтенанта барона П. Н. Врангеля, был членом «Политического объединенного комитета», затем вошел в состав Русского совета — российского правительства в изгнании.

Русский совет, по замыслу Врангеля, был призван осуществить «преемственность русской власти в единении Глав-

нокомандующего с общественными силами, представляющими русскую национальную мысль». При этом в соответствии с «Воззванием», изданным в штаб-квартире Врангеля на стоящей в константинопольской бухте яхте «Лукулл», создание Русского совета должно было «исключить возможность навязать будущей России всякое единоличное решение, решение, не поддержанное русской национальной мыслью».

Русский совет открылся 5 апреля 1921 г. в зале русского посольства в Константинополе. Один из участников заседания, В. В. Шульгин, позднее вспоминал: «Ambassade de Russie [Русское посольство]. Там есть шикарный вестибюль с белыми колоннами. Так вот там это было... Торжественный молебен. Архиерейское служение. Народом (и каким — elite!) залито всё между колоннами, и даже величественная лестница в цветах... Голос диакона, журчащего священные слова, словно из глубины Китеж-Града; золототканая парча, говорящая о сказке, Боге и Родине; кафельный дым — как струящаяся молитва, и звуки молитвы, как кафельный фимиам... Стройные ряды молодых лиц, и высоко над ними и над всеми изящный профиль Главкома... И кругом все... все, кто верует в Бога и Россию... и даже некоторые неверующие... Потом началось заседание. Торжественное заседание. За столом, накрытым сукном, — только что родившийся Русский совет; кругом — приглашенные... Речи... Вот речь Главкома. Главком (на звук) говорит смесью светского человека и фронтовика. Выговор салонный, а фразы скандируются в короткие и протяжно заканчивающиеся возгласы — чтобы далеко было слышно и рядом... Пока идет спокойное изложение, доминирует “светскость”... Затем, когда начинаются призывы к сопротивлению... к мужеству... к борьбе... фронтовые нотки явно врываются в “салонность”... Пахнет штыками, длинными рядами замерших войск, шелестящими знаменами, нависшими, как приближающийся прилив, “ура”... — Здорово, орлы! Да поможет Бог всем нам и России!».

В Русский совет вошли избранные представители от бывших членов обеих палат парламента (И. П. Алексинский, гр. А. А. Мусин-Пушкин), от земских деятелей (М. Ф. Малинин, В. М. Знаменский), от союзов торговли и промышлен-

ности (Н. А. Ростовцев, Т. А. Шамшин). Состав избранников был дополнен «членами по назначению», которые были делегированы в Совет лично бароном Врангелем: В. В. Шульгин (монархист, условно от «правых»), князь Пав. Д. Долгоруков (кадет, от «центра»), Г. А. Алексинский (бывший социал-демократ, однофамилец И. П. Алексинского, — от «левых»). С совещательным голосом в Совет вошли генералы врангелевской армии — А. П. Кутепов, М. А. Фостиков, П. А. Кусонский и др. Позднее Совет был дополнен такими видными общественными деятелями, как Н. Н. Львов и А. И. Гучков.

Иван Павлович Алексинский был избран «старшим товарищем» (первым заместителем) председателя Совета П. Н. Врангеля. В своей большой речи Алексинский отметил, что создание Русского совета совпало с четырехлетней годовщиной начала русской революции, «ставившей Россию, как хотелось верить тогда, на путь свободного развития ее творческих сил и приведшей ее к распаду и разрушению и к позорному порабощению русского народа интернациональной шайкой безумцев и преступников». Итоги революции, по мнению Алексинского, стали катастрофическими для России: «Вместо мощного роста производительных сил страны — обнищание, вместо дружного объединения сил народа на творческой общественной и государственной работе — небывалая по жестокости гражданская война, вместо свободного народовластия — гнусная тирания... На плодородной почве бывшего политического бесправия, административного гнета, поражающего экономического неравенства и утомления войной щедро посеянные семена классовой вражды дали пышные всходы личных, групповых и классовых требований, заслонившие интересы общенародные и общегосударственные».

В речи на открытии Русского совета ярко проявился специфический ораторский стиль Ивана Алексинского — врача и политика в одно и то же время. Его «фирменный знак» — метафоричность в описании задач антибольшевистской борьбы как сложной, почти хирургической операции, призванной спасти находящуюся на краю гибели Россию. Эгоизму и некомпетентности лидеров враждебных политиче-

ских партий он противопоставляет необходимость объединения под единым руководством антибольшевистских сил и сохранения армии как главных инструментов борьбы за возрождение России: «Бесмысленные старания навязать великому народу свою партийную программу, безумный и преступный опыт насильственного социального переворота довели почти до предсмертной агонии государственный организм России. Ее могучий организм долго и напряженно боролся со злой заразой разрушения, и мы были свидетелями упорной борьбы во имя спасения от гибели русского государства... Но и с отходом последней русской армии с родной земли не окончилась борьба за жизнь России, и даже в том состоянии агонии, в котором пребывает она в настоящее время, недопустима для русского сознания утрата надежды на победу жизни над смертью... Однако и до настоящего времени среди русских граждан, потерявших русскую землю, продолжают партийные трения. И до сих пор не замолкли голоса тех, кто партийные интересы ставит выше русского дела, и на почве партийных дразг и трений вырастают такие уродливые явления, как исходящие от русских людей требования распылить армию». Свою речь Алексинский закончил еще одним образным сравнением, вызвавшим овации участников: «Много веков назад, в первые дни русской истории, когда русский народ находился во мраке невежества и идолопоклонства, он приносил своим свирепым богам человеческие жертвы. С берегов Босфора проник в Россию свет христианства. Теперь, когда русское государство разрушено и русский народ вымирает от голода, холода и истребления, приносится в жертву идолу Интернационала, — в это время на берегах Босфора возникает Русский совет».

Собиратель эмигрантских сил. Поездки по русским колониям

Вошедший в Русский совет известный политический деятель В. В. Шульгин рассказал в мемуарах о своих тогдашних ожиданиях от этого предприятия: «Я относился вначале к этому начинанию несколько скептически. Мне осточертели

всякие Совдепы, Комиссии, Совещания — просто, и «особые» в особенности, — словом, всякое заведение, где творится что-то скопом... Мне хотелось бы, чтобы мир управлялся так. Три лица... 1) *Тот, кто думает*. Человек, которого никто не знает. «Серый кардинал», старик, прикованный к постели... Вся жизнь сосредоточилась в мозгу, совершенно необыкновенном, и в сердце, еще более удивительном. Он обдумывает, обчувствует, что надо сделать... 2) *Тот, кто приказывает*. Глава правительства, железный канцлер. Он приводит в исполнение все, решенное старцем. 3) *Тот, кто говорит*. Словоизвергатель. Делатель общественного мнения посредством печати и производства выборов. Он подсказывает народу решенное умным и добрым стариком». К подобным людям в прошлом Шульгин относил убитого премьера Столыпина, в котором «совмещались все три качества: думал, приказывал, говорил». Беда русской революции состояла, по мнению Шульгина, в том, что она не смогла выдвинуть людей этого типа: «Князь Львов не умел ни думать, ни приказывать, ни говорить. Керенский умел только говорить. Ленин умеет приказывать и говорить, но совершенно не способен думать — он очень упрямый дурак или сумасшедший». «Если в Русском совете, — подытоживает Шульгин, — найдутся три лица, способных выполнить эти три задания, то такой Русский совет я бы понял: думающий, приказывающий, говорящий».

При всей кажущейся вычурности размышлений Шульгина в них имеется рациональное зерно и даже большая доля исторической правды. По общему мнению современников, если кто в Белом движении и мог претендовать на роль «железного канцлера», то это, несомненно, был барон П. Н. Врангель, обладавший «инстинктом власти» и пользовавшийся непререкаемым авторитетом у подчиненных... На роль «мудреца» в эмиграции одно время выдвигался престарелый Великий князь Николай Николаевич, дядя последнего императора... Что касается роли «словоизвергателя» и «делателя общественного мнения» в этой «тройке», то обычно считается, что она и в Белом движении, и в эмиграции так и осталась вакантной.

Действительно, талантливый Петр Бернгардович Струве, министр иностранных дел во врангелевском правительстве Юга России, отлично умел «формировать мнение» у своих партнеров по союзническим консультациям. Как блестящий публицист и редактор влиятельной газеты «Возрождение», он, несомненно, был авторитетом и для некоторой части праволиберальной, и умеренно-монархической эмиграции. Однако как оратор Струве, по общему мнению, был весьма косноязычен и зачастую терялся при публичных выступлениях.

Еще менее на роль «делателей общественного мнения» могли претендовать такие штатные врангелевские пропагандисты, как Николай Чебышев — начальник бюро печати при Врангеле или Григорий Алексинский — однофамилец Ивана Павловича, авантюрного склада человек, бывший меньшевик, прибившийся к белым и даже отвечавший одно время за пропаганду в Русском совете. Это были по-своему талантливые люди, в чем-то даже «идеологи», но скорее все-таки «технологи пропаганды»...

Рискну предположить, что именно экс-депутат Первой думы, профессор-хирург Иван Павлович Алексинский более, чем кто-либо, приблизился к искомой роли «Третьего», о которой так образно говорил Шульгин. Иван Алексинский, судя по многим свидетельствам, обладал уникальным умением находить общее между самыми разными кругами очень конфликтной эмигрантской среды: здесь, несомненно, сыграли роль и его личный авторитет врача (у него ведь лечились все — от эсеров до ультрамонархистов), и партийная неангажированность (с «народными социалистами» он давно разошелся). Но еще большее значение имела казавшаяся многим необъяснимой способность Алексинского влиять на настроения массовых слоев эмиграции.

Апогеем успеха Ивана Алексинского в этом смысле стало его большое «пропагандистское турне» по русским эмигрантским колониям летом — осенью 1923 г. с целью сплочения эмиграции вокруг генерала Врангеля и создания под его руководством «национальной автономии зарубежной России». Алексинский посетил тогда Сербию, Болгарию, Чехию, Францию, Германию... Он, безусловно, обладал ораторским

даром, а главное, тем, что сейчас принято называть «харизмой». Причем «харизмой» в изначальном, древнем значении этого слова — «чудесным, спасительным даром». Выдающийся хирург (сделавший, по его собственным приблизительным подсчетам, не менее тридцати тысяч операций), он умел магнетически воздействовать на людей. А если учесть, что поездки Алексинского по русским колониям сопровождались открытием больничных пунктов (где он лично оперировал) и новых общин Красного Креста, то становится понятным, почему такой чуткий политик и откровенный оппонент т.н. врангелевщины, как леволиберальный лидер П. Н. Милюков, всерьез забеспокоился. Свидетельство этому — целая серия полутревожных, полураздраженных статей и фельетонов в милюковской газете «Последние новости». Рациональный политик, Милюков вполне понимал, как бороться с «традиционными» оппонентами: ультрамонархистами, радикал-социалистами и пр. Милюков знал, что на слово можно ответить словом, а чужой газете противопоставить свою газету. Но он явно растерялся, увидев оппонента в лице политика-врача, демонстрирующего не силу тактического мышления, не тонкость политической интриги, а бесконечную личную веру и наглядные чудеса лекарского искусства.

В эмиграции, конечно, позднее высказывались и иные мнения по поводу «политического максимализма» Алексинского — они особенно окрепли в эпоху окончательного краха антибольшевистских иллюзий. Так, в 1943 г. епископ Вениамин, возглавлявший когда-то военное духовенство врангелевской армии, дал такую оценку своему бывшему коллеге по Русскому совету: «Заместителем Врангеля был известный профессор Московского университета, хирург Иван Павлович Алексинский. Он и потом еще долго верил в поражение и разложение большевиков в России, выпуская даже какой-то журнал или газету в этом смысле, а при встрече в Ницце в 1926 году, когда я уже отошел от армии и политики, он пытался убедить меня в своей правоте: вот еще несколько месяцев, и «они» падут... С тех пор прошло 17 лет, но надежды его не сбылись. Блестящий хирург, он, думаю, не своим делом занялся тут. Да и вообще, как и на Юге России, не ока-

залось за границей мудрых и прозорливых политиков. По-прежнему мы шли в хвосте истории, а не провидели будущего». Не исключено, впрочем, что, высказывая эти тяжелые для антибольшевистской эмиграции суждения, Вениамин уже подумывал о возвращении в Советскую Россию, что вскоре и последовало.

Собиратель эмигрантских сил. Парижские переговоры

...А пока, в 1923 г., дело русской антибольшевистской эмиграции еще не казалось окончательно проигранным. И. П. Алексинский стал в те месяцы одним из главных инициаторов союза между генералом Врангелем (еще остававшимся с армией на Балканах) и уединенно проживавшим на своей вилле на Лазурном берегу Франции Великим князем Николаем Николаевичем — бывшим Верховным главнокомандующим русской армии в годы мировой войны. Сама международная обстановка подталкивала к такому союзу: в 1922 г. Советскую Россию признала Германия, в 1923 г. — Италия; намечалось признание Советов Англией и Францией (это произойдет в 1924 г.). А после того как эмиссары барона Врангеля потерпели фиаско во время поездки в США, где Белому движению было также фактически отказано в поддержке, Врангель принял наконец принципиальное решение: в декабре 1923 г. он издал предписание № 04109, в котором объявлялось, что его армия «отныне находится под покровительством Великого князя Николая Николаевича». В свою очередь Великий князь согласился именоваться «лидером эмиграции» и вскоре перебрался с мыса Антиб в небольшое поместье Шуаньи в двадцати пяти километрах от Парижа, откуда мог поддерживать контакт с эмигрантскими политиками и военными.

«Николаевцы», среди которых были не только убежденные монархисты (часть монархической эмиграции группировалась вокруг другого претендента на престол — Великого князя Кирилла Владимировича), но и такие известные праволиберальные деятели, как П. Б. Струве, Н. Н. Львов, князь

Пав. Д. Долгоруков, В. И. Гурко, развернули активную агитацию в пользу Николая Николаевича. К этому времени относится и основание газеты «Возрождение». Издаваемая на деньги нефтепромышленника А. О. Гукасова и редактируемая П. Б. Струве, она была задумана как противовес популярным леволиберальным «Последним новостям» П. Н. Миллюкова и еще более левым эсеровским изданиям во Франции и Германии.

В середине сентября 1923 г. в Париже в среде «николаевцев» сформировалась Инициативная группа по объединению русских общественных организаций. Ее состав был узок, но весьма представительен: бывшие председатели Совета министров граф В. Н. Коковцов и А. Ф. Трепов; бывшие члены Госсовета В. И. Гурко и А. Н. Крупенский; бывшие министры «белых правительств» А. В. Карташев, Н. В. Савич, М. М. Федоров, С. Н. Третьяков; видные дипломаты князь Г. Н. Трубецкой и Н. Н. Шебеко; главноуполномоченный Врангеля во Франции генерал Е. К. Миллер. Все эти лица, вошедшие в группу в личном качестве, одновременно представляли и влиятельные общественные и финансовые круги русской эмиграции. Членов группы объединяло стремление к скорейшему свержению большевистского режима в России при опоре на сохраняющуюся на Балканах русскую армию и ориентация на Великого князя Николая Николаевича в качестве общенационального «Вождя».

В ноябре 1923 г. И. П. Алексинский, приехавший в Париж после турне по русским эмигрантским колониям, был единогласно кооптирован в инициативную группу по личной рекомендации Великого князя. Монархисты сразу увидели в харизматичном и волевом Алексинском «нужного человека». Очень скоро он становится одним из наиболее деятельных участников группы и главным переговорщиком в треугольнике: «Николай Николаевич — Врангель — парижская группа». Уже на заседании 7 декабря Алексинский решительно высказался за активизацию публичной активности группы и снятие излишней конспиративности: «Для того чтобы вызвать отклик в России к нашему начинанию и чтобы побудить иностранцев выйти из нынешней неопреде-

ленной позиции, надо приковать внимание русского народа здесь и там, а также внимание французов к Великому князю и русскому национальному делу. Этого мы можем добиться только путем открытой работы, а следовательно, путем явного существования нашей группы».

На этом же заседании Алексинский впервые открыто предложил перейти от частных совещаний к подготовке объединительного съезда, представительного и легитимного для большинства эмигрантских организаций: «Пока что мы представляем собою немногочисленную группу хотя бы и влиятельных в известных кружках лиц, из коих не все имеют определенные полномочия своих организаций. В таком положении мы не представляем силы в глазах французов. Нам нужно выступить открыто, выделить из своего состава группу для подготовки общеэмигрантского съезда, обратиться на места с указанием важности съезда и с предложением приступить к подготовительной работе». Главную задачу Алексинский видел в том, чтобы «будить общественную мысль, привлекать к работе широкие круги общества»: «Крупное общественное дело можно сделать лишь объединенными усилиями широкой общественности, когда вся организованная русская общественность будет с нами и будет нам сочувствовать». Аргументацию Алексинского активно поддержали А. Ф. Трепов, Н. Н. Шебеко, В. И. Гурко — возможно, в частности, и потому, что почувствовали в новом сотруднике прямую креатуру как Великого князя, так и Врангеля и — что не менее важно — знатока и выразителя массовых эмигрантских настроений. Характерно и то, что высказавшие сомнения по поводу программы Алексинского С. Н. Третьяков и М. М. Федоров (а на следующем заседании — и В. Н. Коковцов) в скором времени под разными предлогами приостановили свое участие в заседаниях. Позиции Алексинского вскоре усилили и кооптированные в состав группы лидеры белого казачества — генералы П. Н. Краснов и М. Н. Граббе.

Переход от клубных совещаний к активной работе, еще до объединительного съезда, Алексинский понимал как создание «прообраза кабинета», где у каждого участника будет четкий круг обязанностей: «Поручения даются Великим

князем, исполнители должны работать по его указаниям». Он приводил аналогию с Русским советом Врангеля, куда входили не только лица «по избранию» от организаций, но и «по назначению» от Врангеля: «Всякий получавший назначение на известную должность входил в состав Русского совета. Тот же принцип может быть проведен и сейчас».

1 сентября 1924 г. распоряжением генерала П. Н. Врангеля был создан Русский общевоинский союз (РОВС), целью которого было объявлено «сохранение русской армии и ее кадров от распыления, укрепление духовной связи между армейскими кадрами и сохранение их как носителей лучших традиций Российской Императорской армии в условиях перехода к гражданской жизни». В декабре 1924 г. другим приказом Врангеля РОВС был переподчинен Великому князю Николаю Николаевичу. В этих условиях 29 января 1925 г. большая группа общественных деятелей, собравшись на парижской квартире А. Ф. Трепова, провозгласила «необходимость и полную своевременность учреждения при Особе Великого князя совещательного органа из небольшого круга вполне доверенных лиц, который мог бы работать в качестве политического совещания, или, если мысль об учреждении совещания будет отклонена, при Великом князе должен состоять избранный им ответственный исполнитель по общей политической и гражданской части... Через него должны будут вестись все внешние сношения. Он будет в связи с сильным общественным центром, которому должны подчиняться все отдельные общественные организации, когда таковой центр удастся создать». После обсуждения было принято решение, зафиксированное в специальном журнале: «Совещание единогласно постановило поручить И. П. Алексинскому, как наиболее яркому представителю общественности, представить лично на благовоззрение Его Императорского Высочества, Великого князя Николая Николаевича настоящий журнал».

Во исполнение этого решения 10 февраля 1925 г. И. П. Алексинский получил аудиенцию у Великого князя. Тот подчеркнул, что считает «вполне естественными и вполне логичными те предположения, которые возникли у группы русских пат-

риотов», но посчитал «преждевременным» создание намеченного совещанием органа: «Может возникнуть предположение, что здесь, за рубежом, создается какое-то правительство для России». Великий князь остался при той точке зрения, что его «должна призвать будущая свободная Россия», а не позвать только эмиграция — тем более ее часть. Тем не менее на очередном совещании «группы патриотических деятелей» было принято решение регулярно направлять Николаю Николаевичу журналы своих заседаний, а информацию о состоявшихся встречах публиковать в прессе. По этому вопросу среди участников возникли расхождения, но победило мнение Алексинского: «Бояться критики нам не должно. Мы должны взять пример с французов, которые даже любят, когда их критикуют. Разумеется, совещанием будет соблюдаться конспирация в тех случаях, когда это окажется необходимым. Печатание же в газетах о наших совещаниях — это самая доступная в настоящих условиях форма оповещения широких русских кругов». Прокламирование большей решительности и открытости эмигрантского объединения сочеталось у Алексинского с пониманием необходимости конспирации и борьбы с провокацией. В частности, на заседании 26 января 1924 г. он рассказал о выявленных при его участии случаях большевистской пропаганды в Константинополе и Праге, когда советские агенты пытались внести сумятицу в ряды белого офицерства, вбивая клин между Великим князем и якобы «скрытым республиканцем» Врангелем.

Личные консультации Великого князя и «представителя общественности» Ивана Алексинского продолжились. Так, на совещании группы патриотических деятелей 2 мая 1925 г., где обсуждался важный вопрос о возможности «иностранного вмешательства» в случае активизации белой армии и внутренней оппозиции в России, Алексинский разъяснил коллегам позицию Великого князя: «Его Высочество признает, что такое вмешательство было бы нежелательным, но допускает, что оно может случиться. Формы его могли бы быть различны, и, разумеется, самой печальной формой была бы оккупация». После разъяснений Алексинского совещание пришло к выводу, что «если признать иностранное вмеша-

тельство не соответствующим интересам России, то, тем не менее, иностранная поддержка русским начинаниям не только может быть очень ценна, но и совершенно необходима». Такой вывод, по мнению участников, вытекает из того казавшегося им очевидным факта, что «нынешнее политическое положение в Европе выявило для каждого разумного человека общность интересов цивилизованных народов в вопросе о свержении большевиков».

Фактически став одним из лидеров правого крыла русской эмиграции, И. П. Алексинский тем не менее неоднократно заявлял, что не считает себя «идейным монархистом». Ключом к пониманию этой неоднозначной, но по своему последовательной позиции могут стать его выступления на совещаниях «патриотической группы». Так, 2 мая 1924 г. Алексинский заявил, что, «исходя из реальных соображений, признавая современное состояние России, для которой единственно возможным строем является строй монархический, можно даже оставаться в душе республиканцем, но говорить за монархию». А 8 июля им было заявлено еще более определенно: «Есть единственный путь для воссоздания Российского государства — это путь восстановления России под управлением монарха. Этим путем мы и должны идти. Русский народ до республиканской формы правления не дорос, так как иначе не мог бы продолжаться семь лет большевизм».

При всей своей политической прямолинейности и даже авторитарности (многие окружающие относили это на счет «привычки к хирургическим методам») Иван Алексинский, похоже, был лишен личного тщеславия, ставя общую пользу много выше собственных амбиций. Так, в ключевые моменты он внешне легко отказывался от первых ролей (при полной возможности их занять) в пользу иных фигур, которые могли бы на данном этапе объединить более широкий спектр политических сил. В мае 1925 г. он, например, первым предложил на пост председателя Совещания патриотических деятелей экс-премьера А. Ф. Трепова (отметив, что «надо считаться с пользой дела и с возможностью его развития»), ограничившись ролью его заместителя.

Собиратель эмигрантских сил. Зарубежный съезд

И в процессе долгой и тяжелой подготовки Объединительного Зарубежного съезда Алексинский постоянно имел в виду, что объективный «монархический уклон» главных инициаторов объединения не должен отпугнуть от съезда и более умеренные группы эмиграции, в том числе и потому, что к ним тяготеют влиятельные предпринимательские и финансовые круги. Это, например, ярко проявилось во время консультаций по поводу проведения в Париже 13 сентября 1925 г. предварительного, но крайне важного Собрания представителей русских общественных организаций во Франции, от которого во многом зависел характер, да и сама возможность будущего Объединительного съезда. На состоявшемся накануне совещании группы патриотических деятелей все участники высказались в пользу того, что в качестве председателя Собрания 13 сентября «наиболее желательной представляется кандидатура Алексинского». Между тем в журнале далее имеется характерная запись: «Самим же И. П. Алексинским было отмечено, что хотя он не считает возможным отказываться от работы, и притом столь большого общественного значения, но полагает, что если будет выдвинута его кандидатура в председатели, то она вызовет явную оппозицию в кругах Торгово-промышленного союза и Национального комитета, ибо они считали бы, что таким избранием было бы умалено значение Торгово-промышленного союза. Поэтому он считает более правильным, чтобы его не выбирали председателем собрания 13 сентября».

Алексинский прекрасно понимал в тот момент, что его самоотвод открывает прямую дорогу к председательствованию вполне конкретной фигуре — одному из лидеров Торгово-Промышленного союза амбициозному Сергею Николаевичу Третьякову — когда-то крупному текстильному магнату, министру Временного правительства. Между Алексинским и Третьяковым существовала взаимная личная неприязнь, которую ни один из них не мог рационально объяснить, и тем не менее Алексинский хорошо понимал, что без участия фи-

нансовых кругов будущий Съезд окажется невозможным ни в политическом, ни в организационном плане. (Впоследствии С. Н. Третьяков, не слишком чистоплотный и в личных делах, будет изобличен как платный агент советских спецслужб. Когда именно началось его сотрудничество с большевиками — в 1929 г., что фиксируют надежные документы, или ранее — сказать затруднительно.)

Иван Алексинский, безусловно, сыграл одну из ключевых ролей в организации в апреле 1926 г. в Париже Зарубежного съезда. Более того, памятуя о неоднократных поездках Алексинского по русским эмигрантским колониям, многие их представители отправлялись в Париж с твердым наказом пославших их избирателей «во всем поддерживать Ивана Павловича». Значительной была роль Алексинского и в обеспечении финансовой стороны Съезда: помогли не только имена друзей — Врангеля и Великого князя, но и личные, часто неформальные, связи самого Алексинского с состоятельными «спонсорами».

При подготовке Зарубежного съезда, в ходе его проведения и особенно после его окончания левая эмигрантская пресса (эсеровская, меньшевистская, левокадетская) приложила немало стараний, чтобы раздуть разногласия между двумя руководителями съезда — П. Б. Струве и И. П. Алексинским. Такие разногласия, разумеется, были, и они действительно наложили свой отпечаток на работу съезда. Однако их не стоит преувеличивать: Алексинский и Струве вместе работали у Врангеля, оба считали Великого князя Николая Николаевича необходимой консолидирующей фигурой, да и просто находились в хороших личных отношениях. Надо вспомнить и о том, что еще в мае 1925 г. именно Алексинский, по прямой просьбе Совещания патриотических деятелей, наладил личный контакт со Струве с целью привлечь его к организации съезда, а потом и предложить ему стать председателем оргкомитета.

Следует также подчеркнуть, что на самом съезде Струве и Алексинский не столько соперничали, сколько долгое время объективно сотрудничали, своеобразно дополняя друг друга. Как известно, среди радикальных монархистов имя Петра

Струве не пользовалось популярностью: многие вспоминали его былую борьбу с самодержавием, редактирование жестко оппозиционного журнала «Освобождение», связи с социал-демократами Ленина, а потом и кадетами Милюкова. Многие монархисты, хотя и знали о принципиальной эволюции Струве к «государственничеству», о его заслугах перед Белым движением и эмиграцией, все-таки настаивали на том, чтобы именно Иван Алексинский возглавил Зарубежный съезд. Однако тот, предвидя в свою очередь возможный откол «центристов», для которых Струве был все-таки предпочтительнее, фактически отказался «переламывать» съезд в свою пользу, агитировать за свою кандидатуру, хотя и не стал снимать ее с обсуждения, а потом и голосования.

Скорее всего, Струве и Алексинский заранее сговорились о некоем «двоевластии»: в этом «дуумвирате» первый предназначен был председательствовать, символизируя собой объективность, умеренность и центризм; второй — «сидеть рядом», обозначая монархическую составляющую съезда и общий вектор на консолидацию вокруг фигуры Великого князя Николая Николаевича. В пользу такой версии говорят, например, подробные журналистские репортажи из парижского отеля «Мажестик», где проходил съезд, в том числе и из редактируемой самим Струве газеты «Возрождение».

Вот одна из характерных журналистских зарисовок о важном моменте начала съезда — предварительном обсуждении делегатами кандидатур на пост председателя. В этот момент, фиксирует корреспондент «Возрождения», руководитель оргкомитета Струве передает ведение собрания другому лицу и выходит в кулуары, где общается с... Алексинским. Репортер пишет: «В частном совещании — это ни для кого не секрет — будет обсуждаться вопрос о кандидатурах в председатели. Принимаются меры, чтобы закрыть доступ в залу неделегатам... По кулуарам расхаживают отдельные пары. П. Б. Струве прохаживается по одной из зал вместе с И. П. Алексинским, ведя беседу на... хирургическую тему. Время от времени из зала выходят делегаты, потом снова возвращаются. Из зала доносятся аплодисменты, временами очень шумные: журналисты, заинтригованные, посматривают друг на друга.

П. Б. Струве, переговорив с И. П. Алексинским, просит принести ему пальто и шляпу и уезжает... Делегаты высыпают в кулуары... Выясняется, что в результате обсуждения в частном совещании намечены два кандидата в председатели — И. П. Алексинский и П. Б. Струве».

В результате голосования П. Б. Струве получил 232 голоса и стал председателем; Алексинский уступил ему, набрав только 193 голоса, но на следующем заседании подавляющим числом голосов был избран товарищем председателя, а впоследствии возглавил еще и организационную комиссию съезда. «Дуумвират» Струве и Алексинского, таким образом, по факту состоялся, и, несомненно, именно он во многом и позволил провести основную часть съезда без особых конфликтов и потрясений.

Съезд единодушно принял «Обращение к русскому народу», в котором, в частности, говорилось: «Российский Зарубежный съезд шлет страждущему родному народу русскому от сердца горячий братский привет... С вами вместе горим мы жаждой положить все свои силы на ее спасение и возрождение, на действенную и беспощадную борьбу с ее насильниками. Ваше сопротивление и наша посильная работа здесь, общая горячая любовь к Отчизне и вера в милосердие Всевышнего приведут нас к желанной цели. Настанет час, когда мы все под водительством вами и нами признанного народного вождя Великого князя Николая Николаевича свергнем соединенными с вами усилиями сатанинскую коммунистическую власть».

Съезд выступил также с «Обращением ко всему миру», в котором объявил глубоко ошибочной тактику некоторых правительств, признавших большевистский режим: «Организация III Интернационала, властвующая над Россией, не только не должна быть отождествляема с Россией и рассматриваема как русское правительство, но она есть, наоборот, злейший враг нашей Родины. Всякие соглашения, а тем более союзы с этой силой есть величайшая ошибка... Сколько бы других народов ни признало коммунистическую партию, властвующую над Россией, ее законным правительством, русский народ ее таковым не признает и не прекратит своей борьбы против нее».

И все-таки относительное единение разнородных политических сил на Зарубежном съезде не могло в какой-то момент не взорваться. Причиной раскола стали разногласия по поводу статуса и полномочий избираемого съездом исполнительного органа. Главным докладчиком по этому вопросу выступил И. П. Алексинский. «Вопрос о создании государственно-общественного зарубежного центра России, — начал он, — имеет свою историю. И отдельные группы, и отдельные лица обращали внимание на необходимость в целях сплочения иметь тот зарубежный орган, который спаял бы воедино русских людей, находящихся на чужбине, но сердцем остающихся в России». Раньше, отметил докладчик, эта мысль не получала осуществления, потому что «не было авторитета»: «Но авторитет явился. Около трех лет тому назад взоры русских людей узрели такой непререкаемый авторитет в лице Великого князя Николая Николаевича. Великий князь сознавал величайшую ответственность и выжидал наступления благоприятных условий для воплощения национального движения... Российский Зарубежный комитет должен быть органом авторитетным... Теперь, когда мы знаем, кто наш национальный вождь, когда мы ждем, чтобы он признал возможным возглавить борьбу, мы не можем мыслить орган оторванным от деятельности нашего Национального Вождя. (*Крики: «Браво!»*)».

Защищая идею прямого подчинения Зарубежного комитета Великому князю, Алексинский попытался развеять те сомнения, которые, как он знал, существуют у значительной части депутатов: «Говорят, что общественный орган может быть подчинен только съезду, как его эманация. В нормальных условиях это так. Но разве нормально то, что мы здесь? Разве нормально то, что в России царит власть III Интернационала? Странно говорить сейчас о противоречии нормальному порядку. (*Аплодисменты части собрания*)». Апеллировал Алексинский и к своему знанию массовых эмигрантских настроений, которые, по его мнению, намного решительнее, чем сознание отдельных «парижских интеллектуалов»: «Гг. члены Съезда! Если здесь, в Париже, есть некоторые слишком осторожные люди, то там, на местах, люди не умудрены опытом, но горят настоящим горением».

Свою речь Алексинский закончил словами: «Наш Съезд есть Российский Земский Собор, имеющий право на учреждение государственно-общественного органа. Задачи Съезда — государственные, боевые. Связь между зарубежным Центральным органом и Великим князем должна быть в порядке определенного подчинения... Час настал, чтобы спаять русских людей воедино и помочь Вождю в тяжком деле освобождения и воссоздания Святой Руси. (*Часть собрания встает и устраивает докладчику овацию*)».

Судя по всему, у И. П. Алексинского, пользовавшегося огромным авторитетом у делегатов «с мест», лично уполномоченного теперь уже общепризнанным вождем — Великим князем (накануне, узнав о намечающихся разногласиях Алексинского со Струве, Николай Николаевич демонстративно уклонился от встречи с председателем), были хорошие шансы выиграть и последний раунд съезда. Дело испортили поверившие в легкую победу и «закусившие удила» ультрамонархисты. Сначала Н. Е. Марков («Марков 2-й») угрожающим тоном напомнил собранию, что «Россия страдает и Россия ждет»: «Комитет необходим. Тем, кто захочет стать между Вождем и русским народом, придется... (*Оратор делает угрожающий жест. Шум. Аплодисменты.*)... Но помните: русский народ чуток. Воля русского народа ясна — идти на освобождение России под водительством Верховного Вождя. Мы здесь разговариваем спокойно, а там, в России, рассуждают проще: теперь ставят к левой стенке, а потом будут ставить к правой стенке. (*Шум и аплодисменты*)».

Свою лепту в нагнетание напряженности внес и известный философ И. А. Ильин, который выступил с пространной лекцией-проповедью. Содержащаяся в ней апология сакрального значения монархии не могла не покоробить значительную часть делегатов. «Излечились ли мы от духа революционного и республиканства? — вопрошал Ильин. — Ибо и в будущем цвести нашей Родине только под Царем и мучиться и чахнуть ей в интригах республиканской партийности... Научились ли мы “дело царево нести честно и грозно”, раскрылись ли для этого наши души?... Да, надо уметь иметь Царя. Мы потеряли Россию, потому что разу-

чились иметь его, и не будет его у нас, пока мы этому не научимся...» и т.д.

Если политик Алексинский, приглашая выступить философа Ильина, думал тем самым окончательно склонить чашу весов в свою пользу, то он явно ошибся — значительная часть умеренных делегатов, напротив, отшатнулась от столь прямолинейно высказанной идеи монархической реставрации, причем в ее самом ортодоксальном — самодержавном — варианте. Правда, когда очередь дошла до голосования, на съезде поначалу сложилось большинство, поддержавшее идею прямого подчинения исполнительного комитета Великому князю. Но уже при обсуждении следующего вопроса — о полномочиях комитета — противники проекта Алексинского (которых, очевидно, умело координировал Струве), объединившись, взяли реванш. Они выдвинули ряд ярких ораторов, горячо доказывавших, что создание органа в том виде, как он предлагается, будет вредно для дела Великого князя, что это решение неприемлемо для значительной части собрания и может привести к расколу до сих пор единодушного съезда. Не поддержали Алексинского даже его бывшие соратники — Н. Н. Львов, В. И. Гурко, Н. Н. Шебеко, А. М. Масленников. Последний высказал мысль, которую разделяли многие: «Комитет нам нужен, но как его выбирать при таком настроении, когда «патриоты» вчера несли знамена с таким барабанным боем, что до сих пор еще в ушах звенит. (*Голоса: правильно!*)».

Скандал при самом окончании съезда никак не входил в планы Великого князя Николая Николаевича, который известил делегатов о своей позиции через посредничество генерала А. С. Лукомского. Правое крыло съезда резко сменило тактику, и А. Ф. Трепов заявил, что «во имя умиротворения страстей и сохранения единства», он полагает целесообразным избрание съездом не комитета, а... исполнительно-финансовой комиссии для выполнения решений съезда». Вслед за Треповым вынужден был выступить и Н. Е. Марков: «Печально признаваться здесь... что мы бессильны перед страдающей Россией. Но нам не нужен «маргариновый комитет», и пусть ликвидационная комиссия съезда начнет работать, а мы исполним свой долг до конца. Но помните, левая треть съезда, что мы

простирали к вам руки и руки наши не встретились». Корреспондент газеты «Русское время» на следующее утро так описал этот момент: «Закончив “надгробное” слово, Марков еще долго стоит на эстраде в позе короля Лира...»

Как бы там ни было, в протоколах съезда зафиксирована следующая запись: «По предложению председателя съезд одобряет основную мысль, высказанную А. Ф. Треповым, большинством всех голосов против семи». Состав Исполнительно-финансовой комиссии для ликвидации дел съезда был избран открытым голосованием — ее председателем был единодушно избран И. П. Алексинский.

Правая часть Зарубежного съезда, однако, не смирилась с неудачей и через несколько дней после его окончания создала отдельную политическую организацию — Русское зарубежное патриотическое объединение во главе с Иваном Алексинским. 22 апреля 1926 г. лидер новой организации получил от Великого князя Николая Николаевича письмо, в котором тот горячо поблагодарил всех тех, кто образовал Патриотическое объединение, за «верность и патриотизм».

Уход близких: Врангель, Кутепов,
Великий князь Николай Николаевич...

Судя по всему, после Зарубежного съезда политическое влияние Алексинского в эмиграции пошло на убыль. Он и сам понимал это и все больше отходил от политики в сторону профессиональной медицинской деятельности. В Париже хирург Алексинский имел большую практику, но никогда не отказывал в безвозмездной помощи неимущим эмигрантам. Долгое время Алексинский возглавлял парижское Общество русских врачей им. Мечникова, являлся вице-председателем совета Русско-французского госпиталя в парижском пригороде Вильжюиф. Главной попечительницей госпиталя была известная меценатка, графиня Елизавета Владимировна Шувалова — в свое время одна из наиболее богатых и влиятельных женщин из окружения последнего русского императора. (В молодости «Бетси» Шувалова не раз эпатировала общество своими романами, в том числе с

молодым кавалергардом, бароном Карлом Густавом Маннергеймом — будущим лидером независимой Финляндии. Это не помешало ей, однако, в годы русско-японской, а потом и мировой войны отправляться на фронт во главе лазаретов Красного Креста, созданных на ее деньги.)

Впоследствии сотрудницы Ивана Алексинского по Русско-французскому госпиталю, где он регулярно оперировал, написали такие строки: «Ежедневно сталкиваясь в продолжение многих лет с Иваном Павловичем в госпитале, мы знали, сколько тепла, сколько сердца давал этот внешне строгий человек каждому больному. Бывали случаи, казавшиеся нам безнадежными, но стоило появиться Ивану Павловичу и уверенной рукой приступить к операции, как мы становились спокойными за судьбу больного. Мы не боялись вызывать Ивана Павловича, так как знали, что где бы он ни был, в какой час дня и ночи, он спешил на наш вызов и не уходил от больного, пока не устранял причины, угрожавшие его состоянию».

Иван Павлович Алексинский и в России, и затем в Европе имел заслуженную славу «хирурга от Бога»: слова благодарности ему можно прочесть в мемуарах представителей таких известных русских семей, как Бунины, Цветаевы, Деникины и др. Однако наиболее известными его пациентами стали два выдающихся белых генерала, личные друзья Алексинского — барон Петр Николаевич Врангель и Александр Павлович Кутепов.

24 марта 1928 г. 49-летний генерал-лейтенант П. Н. Врангель неожиданно тяжело заболел в своем доме в Брюсселе. Близкие считали, что высокая температура и признаки нервного расстройства — последствия недавно перенесенного гриппа. Больного консультировали сразу несколько русских и бельгийских врачей. 30 марта из Парижа был вызван близкий друг и соратник по Белому движению Иван Алексинский, который в тот раз не посчитал положение опасным. 11 апреля, приехав во второй раз, Алексинский зафиксировал туберкулезное поражение легких: «Была какая-то скрытая инфекция (грипп?), пробудившая скрытый туберкулез в верхушке левого легкого». 15 апреля, в первый день Святой

Пасхи в состоянии барона произошло резкое ухудшение. 19 апреля Алексинский приехал в третий раз и узнал от близких Врангеля, что с ним произошел сильнейший нервный припадок: «От какого-то страшного внутреннего возбуждения он минут сорок кричал; никакие усилия окружающих не могли его успокоить».

В своих мемуарах, опубликованных через некоторое время в эмигрантском журнале «Иллюстрированная Россия», Иван Алексинский вспоминал, что в те дни П. Н. Врангель жаловался на сильное нервное возбуждение, которое его страшно мучило: «Меня пугает мой мозг... Я не могу отдохнуть от навязчивых ярких мыслей... Мозг против желания моего лихорадочно работает, голова все время занята расчетами, вычислениями, составлением диспозиций... Картины войны все время передо мною, и я пишу все время приказы, приказы, приказы...»

25 апреля 1928 г. генерал-лейтенант барон П. Н. Врангель скончался. 28 апреля состоялись грандиозные похороны на брюссельском кладбище Иксель. В отпевании и похоронах участвовали многие выдающиеся дореволюционные парламентарии России — М. В. Родзянко, Н. Н. Львов и др. Среди сотен венков был и такой: «*Вождю и другу П. Н. Врангелю. И. Алексинский*» с лентой цветов русского национального флага... Через три месяца прах барона перенесли в постоянный склеп на кладбище Сен-Жиль, а еще через год переправили в Белград, где он был захоронен в храме Св. Троицы.

В 1930 г. И. П. Алексинскому пришлось стать невольным участником еще одной драмы, связанной с русской белой эмиграцией. 26 января 1930 г. лидер Русского общевойскового союза генерал А. П. Кутепов вышел из своей квартиры на улице Руссе в Париже и направился пешком в воинскую церковь русского «Союза галлиполийцев», где он, однако, так и не появился. Тщательное расследование показало: примерно на полдороге к генералу подъехали два автомобиля и выбежавшие из них люди затолкали его в машину. Через несколько часов похожие автомобили видели на одном из пляжей между Кобургом и Тревиллем на берегу Ла-Манша. По свидетельству очевидцев, некий продолговатый предмет был по-

гружен на моторную лодку и отправлен на стоявший неподалеку советский пароход «Спартак», неожиданно ушедший из порта Гавра днем раньше... Версия о похищении лидера РОВС агентами советских спецслужб стала тогда преобладающей. В комментариях не было недостатка; в числе прочих обратились и к И. П. Алексинскому, хорошо знавшему и неоднократно лечившему генерала. Оценка выдающегося врача была более чем пессимистична: по его мнению, Кутепова, скорее всего, уже нет в живых, так как из-за тяжелого фронтowego ранения в грудь организм генерала не мог вынести анестезии, а потому применение похитителями эфира или хлороформа могло оказаться для него смертельным...

Драматическое похищение генерала Кутепова (в 1937 г. большевистскими агентами будет похищен новый руководитель РОВС генерал Е. К. Миллер) заставило многих снова вспомнить необычные обстоятельства смерти барона Врангеля. Вспомнили, что незадолго до странной болезни в доме Врангеля появился якобы брат вестового барона, Якова Юдихина, о котором тот ранее никогда не вспоминал. «Брат» служил фельдшером на советском судне, стоявшем в порту Антверпена, и прожил в доме Врангеля всего одни сутки, после чего исчез. На следующий день Врангель заболел...

В своих мемуарах, надиктованных уже после Второй мировой войны, В. В. Шульгин добавил важную информацию о подлинной позиции И. П. Алексинского по поводу «странной болезни» Врангеля. Шульгин вспомнил: «Алексинский допускал, что Врангелю дали отравленный черный кофе. Отравленный особым ядом: теми же бактериями, которыми он болел». Если это так, то позиция Алексинского в период болезни Врангеля и сразу после его смерти становится более понятной: опытный врач прекрасно понимал «ненормальность» болезни, но не посчитал возможным говорить об этом ни умирающему другу, ни его близким, ни — тем более — поддерживать в средствах информации деморализующую эмиграцию версию о «происках вездесущих большевиков».

Можно только догадываться, что испытывал И. П. Алексинский, видя, как один за другим уходят в могилу или бесследно исчезают близкие люди, с которыми он связывал

перспективы борьбы за возрождение России. Вслед за Врангелем в 1929 г. на своей вилле под Ницей скончался Великий князь Николай Николаевич; в 1930 г. — князь Григорий Николаевич Трубецкой, мыслитель и дипломат, человек, очень близкий к Великому князю и самому Алексинскому...

Уход близких: Надежда Алексинская

Однако самая большая трагедия произошла в конце 1929 г. 27 ноября скончалась от быстротечной чахотки любимая дочь и ближайшая соратница Ивана Павловича — Надежда Ивановна Алексинская. Во время мировой войны она, еще студенткой, работала сестрой милосердия рядом с отцом; диплом врача получила в 1917 г., снова работала во фронтовых госпиталях по распределению. Зимой 1920 г. перешла границу, стремясь на Балканы, опять поближе к отцу, четыре года проработала врачом в русском госпитале в Панчеве (Сербия). Потом перебралась в Париж, где работала вместе с отцом в Русско-французском госпитале в Вильжюиф и в их семейной клинике в Нейи. Профессор клиники С. С. Абрамов, уже после ее кончины, вспоминал, как однажды Надежда Алексинская принесла ему для консультации образцы мокроты якобы одного из пациентов (а на самом деле — свои собственные), спокойно выслушала приговор. Через четыре месяца ее не стало...

Отпевание прошло в парижском православном соборе св. Александра Невского на улице Дарю; похоронили Надежду Алексинскую на кладбище в Нейи. Видный деятель эмиграции, бывший депутат трех дореволюционных Дум Н. Н. Львов был поражен тем, сколько разных людей, ранее никогда в жизни не общавшихся, пришло на похороны: «Храм на рю Дарю был переполнен молящимися. И старые, и молодые, и жены, и дети — все растроганные, все в слезах. Хоронили не крупного общественного деятеля, не заслуженного государственного человека, не знаменитого писателя и художника. Хоронили молодую русскую женщину».

В 1930-е гг. Иван Петрович Алексинский постепенно сворачивает медицинскую практику во Франции, перестает

участвовать в светской и политической жизни эмиграции. Последний раз его видели на публике 16 августа 1936 г. — в тот день в Париже проходила панихида по скончавшемуся в Сербии митрополиту Антонию (Храповицкому). В конце 1936 г. Алексинский, неожиданно для всех, переезжает в Касабланку (Марокко), где становится председателем церковной общины при церкви Успения Божьей Матери.

Марокко. Последние годы жизни (Вместо послесловия)

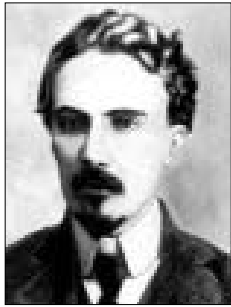
Первые группы русских приехали на территорию Марокканского султаната, находившегося под протекторатом Франции, в 1922–1923 гг. из тунисского порта Бизерта, где нашли пристанище моряки эвакуированного из Крыма врангелевского флота. К началу 30-х гг. в Касабланку приехали еще несколько сот русских, которые, не найдя хорошей работы во Франции, поддались рекламе об «обетованной земле» в Северной Африке. На деле жизнь большинства русских в Марокко была не из легких. Митрополит Евлогий (Георгиевский), бывший там проездом, написал об этом в своих мемуарах: «Русские здесь служат преимущественно землемерами на отвоеванных у арабов участках. Условия работы трудные. Живут в палатках под угрозой налетов арабских племен, под страхом быть растерзанными шакалами или погибнуть от укуса змей, скорпионов...»

В 1927 г. Русской православной церковью в Марокко был прислан священник Варсонофий (Голстухин), который обосновался в Рабате. К 1935 г. и в Касабланке среди членов русской общины возникла идея создания своей церкви. Первоначально оборудовали часовню в обычном барачном помещении, а после приобретения участка земли началось строительство храма в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Именно в это время и появился в Касабланке Иван Павлович Алексинский, который откликнулся на призыв проживавшей в Марокко, хорошо ему известной княгини В. В. Урусовой (так же, как и он, работавшей в Первую мировую войну начальницей санитарного отряда Красного Креста). Чуть поз-

же в Марокко перебрались родственники Алексинского — сестра Софья и ее муж — адмирал русского флота А. И. Русин, кавалер французского ордена Почетного легиона. В самом начале Второй мировой войны в Касабланке появились и другие близкие знакомые Алексинского — дочь княгини В. В. Урусовой Варвара вместе с мужем — бывшим полковником Генштаба, соратником барона Врангеля по Белому движению А. А. Подчертковым, ставшем руководителем русской марокканской колонии.

В Касабланке И. П. Алексинский жил скромно, занимался в основном делами церковной общины, оказывал медицинскую помощь, часто безвозмездную, русским эмигрантам, иногда оперировал... Он умер в Касабланке 26 августа 1945 г. от брюшного тифа (болезни, от которой он за свою жизнь спас сотни людей) и был похоронен на местном христианском кладбище Бен М'Сик. В 2007 г. останки нескольких десятков русских эмигрантов (в том числе Алексинского, Русина, Подчерткова) были перезахоронены на этом же кладбище на специальном участке, получившем название «русского некрополя».



*Георгий Петрович
Федотов:*
«Связать
просветительский идеал
с движущими силами
русской жизни...»

До революции

Георгий Петрович Федотов родился в Саратове на праздник Покрова 1 октября 1886 г. в семье «правителя дел» губернаторской канцелярии. Саратов и волжские берега навсегда останутся любимой малой родиной Федотова, куда он будет возвращаться в трудные моменты жизни и о которой будет мечтать в годы вынужденной эмиграции.

Окончив первым учеником Николаевскую гимназию в Воронеже, он вскоре поступил в Санкт-Петербургский технологический институт. Однако революционные события 1905 г. захватывают Федотова, примкнувшего поначалу к радикальным социалистам. Арест и высылка за границу способствуют продолжению образования — Федотов изучает историю в Берлинском и Йенском университетах. Тогда же, в Германии, он оказывается под влиянием христианской гуманистической философии и постепенно отходит от марксистского материализма.

Осенью 1908 г. Федотов возвращается в Россию и поступает на историко-филологический факультет Петербургского университета, где попадает в круг выдающегося педагога-просветителя, убежденного европейца Ивана Михайловича Гревса, вырастившего целую плеяду крупных историков и культурологов, среди которых такие корифеи русской мысли, как Лев Карсавин и Владимир Вейдле. Увлечшись, благодаря Гревсу, проблемами европейского Средневековья, Федотов окончательно отходит от политики. Тем не менее он продолжает оставаться под надзором полиции и, подверг-

шись несколько раз обыскам и опасаясь ареста, уезжает по подложному паспорту в Италию, где работает в библиотеках Рима и Флоренции, зарабатывая на жизнь частными уроками в семьях богатых русских. Впоследствии в работе «Лицо России» (1918) Федотов писал о той огромной роли, которую сыграла Италия в его становлении как историка русской культуры: «Именно более глубокое погружение в источники западной культуры открыло великолепную красоту русской культуры. Возвращаясь из Рима, мы впервые с дрожью восторга всматривались в колонны Казанского собора; средневековая Италия делала понятной Москву».

Вернувшись в Россию, Федотов был приговорен к годичной ссылке и выбрал Ригу, где занялся подготовкой диссертации. После возвращения в Петербург он успешно сдал магистерские экзамены и был оставлен при университете, где вскоре получил приват-доцентуру по кафедре средних веков, работая одновременно хранителем отдела искусств Публичной библиотеки.

После революции

Первую мировую войну Федотов воспринял как совместную борьбу россиян за свободу в союзе с западными демократиями. Февральская революция 1917 г. была встречена им без восторга: он понимал, что русская демократия слишком хрупка и бессильна перед натиском разрушительных антикультурных сил. После Октября он остается на службе в Публичной библиотеке, продолжает заниматься наукой, посещает религиозно-философские кружки, участники которых надеялись на мирную эволюцию большевизма.

После тяжелого заболевания сыпным тифом Федотов берет отпуск и уезжает в родной Саратов, где становится профессором кафедры средневековой истории. Вскоре, однако, он вынужден был покинуть университет из-за своего демонстративного отказа соблюдать советскую обрядность — посещение собраний, хождение на демонстрации и т.п. Убежденный христианин, Федотов решает вскоре вообще уволиться с госслужбы и зарабатывать переводами в частных издательств-

вах, расплодившихся в годы нэпа: это обеспечивало приличный заработок, хотя и лишало госпайка, а также существенно повышало плату за квартиру и обучение дочери.

В 1925 г. Федотов получает французскую визу и выезжает сначала в Берлин, а затем в Париж; через некоторое время к нему переезжает из России и семья. Работать и публиковаться во Франции по узкой специальности — медиевистике — оказалось невозможным (хороших специалистов было в избытке), и Федотов, в поисках заработка, начинает писать историко-публицистические статьи для эмигрантских журналов. Конкуренция и здесь была велика, но уже первые статьи-эссе Федотова («Три столицы» и «Трагедия интеллигенции»), опубликованные в 1926 г. в парижском журнале «Версты», получили широкую известность в литературно-политических кругах русской эмиграции. На молодого автора обратила внимание редакция крупнейшего эмигрантского журнала «Современные записки», в котором Федотов затем многократно печатался, снискав себе славу *первого публициста эмиграции*, *Герцена нового времени*.

В Париже произошло знакомство Федотова с другим русским эмигрантом — крупнейшим философом Федором Степуном, дружба и сотрудничество с которым продлилась долгие годы. Степун позднее вспоминал о первой встрече с Федотовым: «Впечатление было несколько неожиданное... Очень сдержанная речь с паузами и умолчаниями, тихий, но богатый интонациями голос; во внешнем облике, несмотря на заносенный пиджачок, нечто очень изящное, хрупкое и даже декадентское, что не встречалось у писателей-бытовиков и партийцев-общественников. Во всем образе нечто аристократически-отъединенное...».

В 20–30-х гг. Федотов издал во Франции серию монографий по истории русской православной церкви, принесших ему европейскую известность. Одновременно он был активным участником экуменического движения, ратуя, в частности, за сближение православной и англиканской епископальной церкви. С 1926 по 1940 г. Федотов преподавал историю Западной церкви и латинский язык в парижском Богословском институте. После оккупации Парижа немцами он уезжа-

ет на юг Франции, где арестовывается за нелегальный переход демаркационной линии. При содействии друзей-американцев он получает визу в США, но путь туда оказался долгим и трудным. Сначала французский пароход, следующий в Штаты кружным путем через Бразилию, был блокирован англичанами в порту Дакара (Сенегал), где простоял четыре месяца — все это время Федотов работал в Дакарском музее, а также учил португальский и древнееврейский языки. Затем корабль был отправлен в Касабланку (Марокко), где пассажиры некоторое время жили в палаточном лагере в пустыне, за колючей проволокой. Добыв билеты на испанский пароход, Федотов — через Алжир, Испанию, Кубу и Бермуды — прибыл наконец в сентябре 1941 г. в Нью-Йорк.

Некоторое время он работал как приглашенный преподаватель в колледже при Йельском университете в Нью-Хэйвене, пользуясь стипендией Бахметьевского фонда; затем стал профессором православной Богословской академии Св. Владимира в Нью-Йорке. В конце 40-х годов он издал в США на английском языке два своих последних крупных труда — «Русское религиозное сознание» и «Сокровищница русской духовности».

Между тем болезнь сердца, преследовавшая Федотова на протяжении всей жизни, усиливалась. Крупный поэт и публицист русской эмиграции Юрий Иваск вспоминал о последних месяцах жизни Федотова: «Он становился все хрупче, легче. Как-то необыкновенно бережно, прощаясь, касался вещей. Все меньше говорил. Все больше молчал. Был — тихий, светлый и вместе с тем до самого конца — такой живой». 1 сентября 1951 г. Георгий Петрович Федотов скончался в госпитале города Бэкон, штат Нью-Джерси.

Оправдание культуры

Несмотря на то, что политико-культурологические взгляды и оценки Г. П. Федотова рассредоточены по многочисленным публикациям (в России сейчас, хотя и медленно, продвигается издание собрания его сочинений — предположительно, в двенадцати томах), политическое наследие Фе-

дотова достаточно цельно. Хорошо знавший его Ю. Иваск писал, что делом всей жизни Федотова было утверждение мысли о том, что человеческая свобода может стать результатом не политического переворота, а культурного творчества. «Его дело, — писал Иваск о Федотове, — *оправдание культуры*, которая так страстно и на все лады отрицалась у нас — со времени Белинского и до “Русской идеи” Бердяева. И он боролся с этим отрицанием, которое довело Россию до нового советского варварства и облегчило торжество зла большевизма, способного погубить все человечество».

Согласно общей философско-исторической концепции Федотова, развитие России происходило в условиях острого соперничества по меньшей мере трех тенденций: самодержавно-деспотической, антигосударственно-нигилистической и творческо-европеистской. Только победа этой третьей, европейской, тенденции открывала перед Россией перспективу свободного и полного развития. «Судьба, увы, сулила иное», — констатировал Федотов. Изучению причин крушения российского европеизма, анализу истоков большевистского варварства и поиску путей освобождения России и посвящена политическая публицистика Г. П. Федотова.

Профессионально изучая историю России, Федотов считал, что уже в допетровской Руси был заложен немалый потенциал европеизма. Его особенно увлекала самобытно русская и в то же время безусловно европейская культура русского Севера, более, чем Московия, свободного от деспотическо-азиатских элементов. Федотову были близки многообразие, сложность и межкультурный синтез псковско-новгородской земли, которая чудесным образом совмещала «с буйным вечем молитвенный подвиг, с русской иконой ганзейский торг». Уже в своей ранней работе «Трагедия интеллигенции» (1926) Федотов писал, что в самобытно-европейской истории России «главное творческое дело было совершено Новгородом»: «Здесь, на севере, Русь перестает быть робкой ученицей Византии и, не прерывая религиозно-культурной связи с ней, творит свое — уже не греческое, а славянское или, вернее, именно русское — дело. Только здесь Русь откликнулась христианству своим особым голо-

сом». И поэтому прав был Ф. Степун, когда писал о том, что в конкуренции моделей российского развития «живая любовь великоросса Федотова» принадлежит не Москве и не Петербургу, а именно Новгороду.

Петровские реформы, по мысли Федотова, дали новый импульс российскому европеизму. Творческий потенциал этого реформаторства мог двинуть Россию не по пути банального подражательства Европе, а в направлении творческого развития самой «культурной идеи Европы». «Петровская реформа, — писал Федотов в «Письмах о русской культуре» (1938), — действительно вывела Россию на мировые просторы, поставив ее на перекрестке всех великих культур Запада, и создала породу русских европейцев». Федотов считал, что эта новая порода русских людей могла не только сродниться с Европой, но и стать воплощениями «высшей Европы», до чего редко дорастает даже большинство самих западных европейцев: «Их <русских европейцев> отличает прежде всего свобода и широта духа — отличает не только от москвичей, но и от настоящих западных европейцев. В течение долгого времени Европа как целое жила более реальной жизнью на берегах Невы или Москва-реки, чем на берегах Сены, Темзы или Шпрее».

Тип русского европейца, по мысли Федотова, — вовсе не отрицание «старой русскости», а творческое ее преодоление и развитие. В противоположность вульгарным «западникам» (это понятие, в отличие от «европеистов», носит у Федотова негативный оттенок) — скептиков, циников и порой откровенных русофобов, в которых петровское «открытие Европы» лишь закрепило неверие в собственную страну, — русские европейцы, напротив, не утратили ни связи с отечеством, ни силы национального характера. «В каждом городе, в каждом уезде остались следы этих культурных подвижников. Где школа или научное общество, где культурное хозяйство или просто память о бескорыстном враче, о гуманном судье, о благородном человеке. Это они не давали России застыть и замерзнуть, когда сверху старались превратить ее в холодильник, а снизу в костер. Если москвич держал на своем хребте Россию, то русский европеец ее строил». И пусть в

жизни и политике русским европейцам часто приходилось бороться с «косностью и ленью москвичей», и у тех, и у других был общий нравственный идеал, общая любовь к родной стране. Именно эта плодотворная связка «старых» и «новых» русских, патриотов-москвичей и патриотов-европеистов, могла сформировать тип творческой русской элиты, способной, по мысли Федотова, обеспечить для России рывок в экономике, политике, культуре.

К несчастью для страны, человеческий тип русского европейца не успел достаточно развиваться и не получил надежного политического представительства, а потому проиграл двум другим национальным типам, принципиально антикультурным и, в сущности, антинациональным — реакционеру-охранителю и разрушителю-нигилисту.

Общей причиной победы большевизма в России Г. П. Федотов считал потерю страной культурного иммунитета перед варварством, что, в свою очередь, явилось следствием отхода России от высокой гуманистической традиции Европы: «Не хотели читать по-гречески — выучились по-немецки, вместо Платона и Эсхила набросились на Каутских и Леппертов. Лишив себя плодов гуманизма, питаемся теперь его “вершками”, засыхающей ботвой» («Трагедия интеллигенции», 1926). Этой «ботвой», «сухими вершками европейской культуры» считал Федотов и вульгаризированный марксизм, под обаянием простоты которого он сам находился в юности.

Истоки русского большевизма

Основная вина за большевистскую революцию, согласно Г. П. Федотову, лежит на парализовавшем творческий потенциал общества российском самодержавии. «Разве наше поколение не расплачивается сейчас за грехи древней Москвы? — спрашивал он в статье «Правда побежденных» (1933). — Разве деспотизм преемников Калиты, уничтоживший и самоуправление уделов, и вольных городов, подавивший независимость боярства и Церкви, — не привел к склерозу социального тела Империи, к бессилию средних классов и к черносотенному стилю народной большевистской революции?».

Но, тяготеющий в зрелые годы к христианскому либерализму, Г. П. Федотов возлагал вину за русский большевизм не только на косную деградировавшую власть, на каждом шагу подменявшую культурный консерватизм откровенной реакционностью, но и на российских либералов, не сумевших воспрепятствовать (а иногда и прямо потакавших) варваризации общества. В работе «Революция идет» (1929) он написал беспощадные слова о недугах отечественного либерализма, увлекшегося безоглядной критикой старых порядков, но оказавшегося неспособным к позитивному строительству. Эту «немошь либерализма» Федотов объяснял тем, что тот был склонен развиваться по пути наименьшего сопротивления — не в направлении творческого европеизма (т.е. развития европейского потенциала, заложенного в русской традиции), а по пути поверхностного западнического подражательства: «Русский либерализм долго питался не столько силами русской жизни, сколько впечатлениями заграничных поездок, поверхностным восторгом перед чудесами европейской цивилизации, при полном неумении связать свой просветительский идеал с движущими силами русской жизни...».

Нежелание и неспособность развивать русскую европейскую традицию не позволило отечественным западникам укорениться в собственной истории. «Своим» для них становился далекий и, по существу, так и не понятый Запад, в то время как собственно русская история, тоже непознанная и непонятая, отрицалась и отбрасывалась: «Западническое содержание идеалов, при хронической борьбе с государственной властью, приводило к болезни антинационализма. Все, что было связано с государственной мощью России, с ее героическим преданием, с ее мировыми или имперскими задачами, было взято под подозрение, разлагалось ядом скептицизма. За правительством и монархией объектом ненависти становилась уже сама Россия: русское государство, русская нация».

Этот порок русского диссидентства — слабость национального чувства, вытекавшая, с одной стороны, из западнического презрения к собственной стране и, с другой, из непонимания смысла государственности как таковой, — привел к тому, что, по выражению Федотова, «за англий-

ским фасадом русского либерализма скрывалось подчас чисто русское толстовство, то есть дворянское неприятие государственного дела».

В периоды стабильного развития глубинные пороки русской элиты — как консервативной (явно вырождающейся в тупую реакцию), так и либеральной (тяготеющей к антигосударственному нигилизму), еще не были фатально губительны для страны. Но в начале XX века, в период обострения внешних и внутренних вызовов и угроз, общая порочность национальной элиты оказалась роковой. И отечественные либералы оказались здесь не на высоте положения. Они поддались общему гипнозу кажущейся мощи русской державности и, будучи непримиримы к «старому режиму», оказались беспощадны и к России: «Такую махину — можно ли сдвинуть? Легкая встряска, удар по шее только на пользу сонному великану. За Севастополь — освобождение крестьян, за Порт-Артур — конституция. Баланс казался недурен. Мы не хотели видеть, что сонный великан дряхл и что огромная лавина, подточенная подземными водами, готова рухнуть, похоронив под обломками не только самодержавие, но и Россию» («Защита России», 1936).

Рождение свободы

Исследование причин трагедии России, где борьба за человеческую свободу породила в конечном итоге многократное умножение рабства, привело либерала-христианина Федотова к необходимости глубинного анализа самого понятия «свобода». Вопреки известному изречению Ж.-Ж. Руссо о том, что «человек рождается свободным, а умирает в оковах», Федотов, напротив, полагал, что «свобода есть поздний и тонкий цветок человеческой культуры». В примитивных сообществах, как и в биологическом мире, свободе еще нет места: «Там, где все до конца обусловлено необходимостью, нельзя найти ни бреши, ни щели, в которую могла бы прорваться свобода. Где органическая жизнь приобретает социальный характер, она насквозь тоталитарна. У пчел есть коммунизм, у муравьев есть рабство, в звериной стае — абсолютная власть вожака».

Согласно Федотову, не стоит идеализировать (как это делают некоторые не очень глубокие историки) и формы античной полисной демократии. «Нас обманывает часто вольность и легкость жизни в классическую пору афинской демократии, — писал Федотов в статье «Рождение свободы» (1944). — Но эта вольность — результат разложения, скорее распушенность, чем закон жизни... За полтора века оказались подорваны все нравственные устои демократии, и Афины, как и вся Греция, сделались легкой добычей Филиппа <Македонского>».

Подлинная свобода, согласно Федотову, наступает не тогда, когда государственность подтачивается и разрушается, а тогда, когда происходит «утверждение границ для власти государства, которые определяются неотъемлемыми правами личности». При своем зарождении правовая свобода всегда оказывается свободой для немногих — иной она и не может быть. Человеческая свобода рождается как привилегия, подобно всем другим плодам высокой культуры.

Драма России заключалась в том, что она во многом была воспитана в восточной деспотической традиции. Когда все равны и беззащитны перед лицом деспота (включая и формально элитарные слои), подданные ни за что не соглашались со «свободой для немногих, хотя бы на время»: «Они желают ее для всех или ни для кого. И потому получают “ни для кого”... И в результате на месте дворянской России — Империя Сталина». Федотов приходит к парадоксальному выводу: призыв к всеобщему уравниванию, прикрывающийся лозунгами предельного демократизма, губителен для либеральных свобод и — закономерно — не только не обеспечивает демократии, но и ведет к новому, еще более тяжкому деспотизму.

Свобода и воля

Большой заслугой Федотова-интеллектуала является разграничение в русском культурно-политическом контексте понятий «свобода» и «воля». В знаменитой статье «Россия и свобода» (1945) он дал определение, ставшее в русском либерализме классическим: «Личная свобода немыслима без ува-

жения к чужой свободе; воля — всегда для себя... Воля есть прежде всего возможность пожить по своей воле, не стесняясь никакими социальными узами... Воля торжествует или у выхода из общества, на степном просторе, или во власти над обществом, в насилии над людьми».

Поэтому русская «воля» (часто обманчиво принимаемая за подлинную свободу), не страшна для тирании, ибо является лишь ее оборотной стороной. «Она <воля> не противоположна тирании, ибо тиран есть тоже вольное существо... Так как воля, подобно анархии, невозможна в культурном общежитии, то русский идеал воли находит себе выражение в культуре пустыни, дикой природы, кочевого быта, цыганщины, вина, разгула, самозабвенной страсти, разбойничества, бунта и тирании».

Искушение западными свободами и правами, которыми постоянно облучаются не вполне культурные русские слои, включая высокомерных, но, в сущности, тоже полуобразованных «западников», оборачивается «русской волей» и порождает не правовой порядок, а анархию и хаос. «Прикосновение московской души к западной культуре, — писал Федотов, — почти всегда скидывается нигилизмом; разрушение старых устоев опережает положительные плоды воспитания. Человек, потерявший веру в Бога и царя, утрачивает и все основы личной и социальной этики».

Россия и Польша

Духовное спасение России виделось Федотову в «зарождении чувства, потребности, любви к свободе». Но это могло свершиться только как результат осознания очевидной вещи, в которой боялись признаться искатели национальной идеи в глубинах народной души: «Свобода в своих истоках всегда аристократична». А потому русский культурный класс, считал Федотов, должен как минимум перестать инфантильно восторгаться в отечественной истории победами самодержавного деспотизма над боярской и дворянской фрондой. Федотов был уверен: без укрепления либеральных свобод (пусть поначалу элитарных) невозможна в перспек-

тиве и широкая демократизация. «Боярская свобода в средневековье, — писал он, — обеспечила бы нам дворянскую конституцию в XIX веке и всенародную — в XX».

Пересматривая национальное прошлое, Федотов призвал внимательнее присмотреться к судьбе соседней, столь близкой и столь далекой Польши. В известной работе «Польша и мы» (1939) он писал о том, что трудность взаимного понимания двух культур нельзя объяснить только памятью прошлых и ощущением настоящих обид — за этим непониманием стоит противоположность духовных типов и социального строя. В общем виде это глубинное противоречие Федотов формулировал так: аристократическая свобода шляхетской Польши против уравнительного деспотизма самодержавной России.

В своей истории Польша шла путем обеспечения либеральных свобод меньшинства, хотя и ценой полного безучастия к закрепощенным массам. Русское самодержавие, напротив, имело в своей основе уравнительные тенденции, нивелирующие всех подданных без исключения перед лицом высшей власти. Победивший в России большевизм лишь продолжил и развил эту традицию, которую Федотов называл «всеобщим равенством нищеты и рабства».

Опыт Польши, хотя и драматический, мог бы стать полезным уроком для России: «Не с высоты мужицко-пролетарской гордости надо смотреть на ее шляхетское безумие. Если бы нам хоть в малой доле той любви к свободе, которая в чистом виде, в национально-аристократической исключительности, губит Польшу! Ее отравка была бы нашим спасением».

Вслед за Александром Герценом христианский либерал Федотов был лишен малейшего великодержавия по отношению к эмансипации Польши. Как известно, на «польском вопросе» спотыкались многие отечественные диссиденты: стоило полякам в очередной раз заявить о претензиях на независимость, как это немедленно возвращало многих наших интеллектуалов под сень великодержавного официоза. Иначе рассуждал Федотов: он считал, что, борясь за свою независимость, поляки борются и за свободную Россию. (Следуя

той же логике, Федотов поддержал и независимую Финляндию в войне против сталинского СССР: «финны борются за русскую свободу».)

Как выбраться из большевизма?

Верный своей культурно-исторической концепции, Федотов и в эмиграции продолжал делать ставку на постепенное накопление в России творческо-европейского потенциала. Разумеется, восстановление его в России, подвергшейся небывалой деевропеизации и массовому геноциду культурных слоев, представлялось ему делом долгим и трудным. По его мнению, при большевиках Россия вернулась в допетровскую эпоху, когда не существовало различия между служилым классом и остальным обществом: «"Свободная профессия" стала каторжным клеймом в России... Россия кишит полуинтеллигенцией, полужнайками... Старые человеческие запасы иссякают...» («Новая Россия», 1930); «Религия, искусство, научная работа, семья и воспитание — все становится функцией государства... Для государства-зверя политика становится человеческой отраслью животноводства» («Социальный вопрос и свобода», 1931). Сознательное понижение русской культуры стало при большевиках государственной политикой, способом выживания режима: «Большевики, ревнивые к военным и финансовым основам своей власти, совершенно не заинтересованы в защите русской культуры. Они предают ее на каждом шагу, вознаграждая приманкой русофобства ограбленные и терроризированные окраины» («Проблемы будущей России», 1931).

Но проблема была еще и в том, что среди радикальных противников сталинизма Федотов очень часто встречал тот же самый антикультурный человеческий тип, который ранее, обрядившись в марксистские одежды, и привел Россию к катастрофе: «Дух ленинского имморализма оживает в стане реакции... В стане контрреволюции происходит настоящий процесс обольщения... Люди убеждены, что низость или жестокость средств является прямой гарантией успеха... Так растут у пня поваленного Белого движения

ядовитые грибы новой всероссийской Чеки» («Февраль и Октябрь», 1937).

Федотов был одним из первых русских политических мыслителей, кто обратил самое серьезное внимание на то, что и в большевистской России, и в антибольшевистской эмиграции «развелось немало людей, соблазненных легким успехом большевизма, которые не прочь сменить в седле Сталина и хлестать измученную лошадь по глазам и шпорить до кишок окровавленные бока, пока она не издохнет». «Эти люди преступники или сумасшедшие, — заявляет Федотов. — Мы объявляем беспощадную борьбу доктринерам и максималистам, чьим бы именем они не прикрывались... Пора перестать сумасшедшим управлять Россией».

Время показало, что Федотов не был политически наивен, когда утверждал, что освобождение России, ее возвращение в Европу возможны не путем верхушечных политических переворотов, а лишь как результат поступательного наращивания европейской культуры. «Среди тьмы русской жизни, среди казней, предательства, лжи, окутывающей все густой, непроницаемой пеленой, одна мысль сейчас утешает, дает надежду: в России читают Пушкина», — писал Федотов в работе «Пушкин и освобождение России» (1937). — Совершается преодоление классового сознания; в рабочем, в крестьянине родился человек, и Пушкин стоит у купели крестным отцом».

Чем объяснить эту «политическую дерзость» режима, этот непонятный «пушкинский либерализм»? Наивностью или политическим расчетом? Скорее всего, рассуждал Федотов, это — лишь очередное проявление традиционного на Руси презрения власти к народу: «Пусть читают! Быдло никогда не поймет!»

«А что, если поймет? — вопрошает себя и соотечественников Г. П. Федотов. — И Пушкин станет сеятелем свободы в родной стране?»



**Владимир Васильевич
Вейдле:**
«Россия так же единственна
в европейском целом,
как Англия или Италия...»

Предисловие

Владимир Васильевич Вейдле (1895–1979) — крупнейший историк, культуролог, эссеист и поэт, одна из последних фундаментальных фигур русской эмиграции двадцатого века. Известный православный богослов протоиерей Александр Шмеман, близко общавшийся с Вейдле в Париже, говорил о том, что Владимира Васильевича даже как-то «неуклюже и смешно» определять банальным словосочетанием «культурный человек». «Был он не “культурным человеком”, а неким поистине чудесным воплощением культуры: он жил в ней и она жила в нем с той царственной свободой и самоочевидностью, которых так мало осталось в наш век», — писал Шмеман в некрологе на смерть Вейдле. Поразительно также то, что Владимир Вейдле, будучи лично знаком с Александром Блоком, Андреем Белым, Николаем Гумилевым, Владиславом Ходасевичем, Сергеем Маковским, — человек, по сути, современной эпохи; он прожил длинную жизнь и скончался летом 1979 г. в Париже в возрасте 84 лет.

Владимир Вейдле принадлежит к плеяде выдающихся деятелей русской эмиграции (в этом ряду можно также назвать Ф. А. Степуна, Г. П. Федотова, Б. К. Зайцева, М. А. Осоргина), кто в своем неприятии советского большевизма выбрал не прямолинейно-партийную линию политического противостояния, а долговременную стратегию борьбы за русскую культуру, которая, — верили они, — если она возродится и разовьется, непременно рано или поздно сбросит «большевизм», паразитирующий на русском варварстве.

Сам Вейдле говорил о себе так: «Я гождусь в хранители, а не в разрушители. Да и “культурник” я, а не “общественник”; ничего с этим поделать не могу. Лувр больше люблю, чем Палату депутатов; если пришлось бы выбирать, выбрал бы Лувр. Социальная (как и всякая другая) несправедливость вовсе не мила моей душе, но я выберу ее, — для себя выберу лохмотья и черствый хлеб, — если справедливости будут достигать ценой снижения и распыления культуры».

Поразительно, но именно «культурная стратегия», неброская, несуетная, но глубокая и принципиальная, сделали из Владимира Вейдле одну из наиболее действенных фигур антитоталитарной борьбы и культурно-нравственного преодоления большевизма.

Эпизоды биографии

Владимир Васильевич Вейдле родился 1 марта 1895 г. в Петербурге, в обрусевшей немецкой семье. После окончания Реформатского училища поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, который окончил в 1916 г. Учился у таких выдающихся историков, как Дмитрий Власьевич Айналов и Иван Михайлович Гревс. Молодой историк оказался тогда и в центре петербургской литературно-художественной жизни: писал стихи в духе акмеизма, близко знал молодых А. Ахматову и О. Мандельштама.

Большевистского октябрьского переворота и разгона Учредительного собрания В. В. Вейдле в Петрограде не застал. В поисках свободы мысли и преподавания молодой приват-доцент отправился, как он писал, «в достославный город Пермь»: сперва на поезде в Рыбинск, оттуда на пароходе вниз по Волге, потом вверх по Каме. Здесь в Пермском университете, созданном сначала как филиал Петроградского университета, кафедру истории возглавил друг Вейдле, Николай Петрович Оттокар — историк-медиевист, тоже ученик И. М. Гревса. (Вскоре Оттокар стал деканом Пермского истфака, был некоторое время ректором университета. Закон-

ченное им уже в Италии исследование о борьбе семейных кланов в средневековой Флоренции было издано на итальянском языке и принесло автору профессию во Флорентийском университете и звание почетного гражданина города Флоренция. Там он и похоронен.)

С 1918 по 1921 г. В. В. Вейдле был профессором Пермского университета. Позднее он вспоминал о своем преподавании в Перми: «А студенты и студентки ведь пермячками и пермячками были в большинстве. Столичные, однако, наставники их (и я в том числе, когда стал заниматься ими) вполне были ими довольны. И все мы, со своей стороны, не испорченной пищей их питали, не примешивали никакой заранее припасенной и не нами состряпанной идеологии к тем наукам, в которые мы их вводили... Все наши профессора... придерживались умеренно либеральных взглядов и от политики держались вдалеке. Октябрю, когда о нем узнали, не порадовался среди них никто... Но какой-нибудь контрреволюционной активности не проявляли. Считали, что университет при любом режиме — ах, какими оптимистами были! — останется университетом. Физики, мол, никакой большевик не переделает; а римское право тоже ведь исправлению задним числом не подлежит. Насчет фальсификации истории не только никто себе не представлял... но и понятия такого в мыслях ни у кого не было. И насчет марксистского ее истолкования никто у нас, кажется, не беспокоился по той простой причине, что и понятия о нем не имел». «Одним словом, — подводит итог Вейдле, — находились мы в состоянии райской невинности. Не вкусили еще от плодов древа познания добра и зла».

25 декабря 1918 г. армия Колчака заняла Пермь, однако вскоре перешла к обороне. Вейдле был призван на военную службу в белую армию, но служил недолго. Университет после захвата города красными летом 1919 г. эвакуировался в Томск. В марте 1920 г. большевистская власть перевела университет опять в Пермь. Но работа здесь уже потеряла для Вейдле смысл (идеология и здесь победила науку), и он возвращается в Петроград.

10 августа 1921 г. состоялось важное для В. Вейдле и всей русской культуры событие. Хоронили Александра Блока; Вейдле нес его гроб на плечах на Смоленское кладбище. Тогда он сказал: «Прощание с Блоком — это и прощание с Россией». Именно тогда, в кладбищенской церкви, стоя рядом с Анной Ахматовой и Андреем Белым, почти за три года до отъезда своего из России, Вейдле ощутил, что Россия распалась надвое, и той ее части, к которой он себя относил, по видимому, уже нет места на родине: «Никогда охоты у меня не было ни к каким группировкам, объединениям, движениям, союзам, партиям принадлежать. Но молчаливое это самомнение мое меня ведь-таки зачисляло в какое-то большое целое, в пишущую, мыслящую Россию. Плохо ей теперь приходилось. Горжусь, что включил я себя в нее, пусть сознанием одним, не подвигом, ни даже малым каким-нибудь делом, тогда, в то тяжкое для нее время, в тот особо трагический и решающий для нее год».

Молодой историк, литератор, поэт, В. В. Вейдле пережил в России поражение культуры и ее распад. Участвовать в этом распаде служитель культуры Вейдле не мог и не хотел. По словам А. Шмемана, «опытом этого распада — любованье оказалось претворенным в служение, любовь к культуре — в борьбу за подлинную ее сущность».

Вейдле никогда (ни в России, ни потом во Франции) не был политическим противником левой доктрины как таковой. Он как-то написал: «Я — не фанатический приверженец какого-либо одного, противопоставляемого всем другим государственного строя. К социальным утопиям не склонен, идеалы социализма считаю убогими, унижающими человека, но из капитализма отнюдь кумира себе не творю... Дело было в идеологии — не вообще идеологии, хотя бы и коммунистической, а в тоталитарности ее. Сама она этой тоталитарностью своей, этим захватом всех областей жизни и духовной жизни вышла за пределы политики (или политическим сделала все на свете), а потому и чуждых политике людей, вроде меня, сделала врагами своей политики». И далее: «Вопрос о присвоении прибавочной стоимости или о том, кому принадлежат орудия производства, мало меня ин-

тересовал. Но тирания захватившей власть тоталитарной идеологии страшнее всех тираний, когда-либо существовавших на земле».

В июле 1924 г. Вейдле эмигрировал из большевистской России под предлогом научной командировки; в октябре 1924 г. приехал в Париж, где и прожил до конца жизни. Многие годы он работал профессором христианского искусства в парижском Православном богословском институте; его фигура, его личность и труды стали одним из важнейших центров русской культурной эмиграции. Это о таких как Вейдле сказал писатель Роман Гуль: «Они унесли с собой Россию»...

Протоиерей А. Шмеман вспоминал о Вейдле: «В темные годы немецкой оккупации читал он на частной квартире, почти “конспиративно”, цикл лекций о русской поэзии. Я убежден, что никто из слушавших его не забудет вдохновенного чтения им Пушкина, Баратынского, Тютчева, Блока, Ахматовой. Этим чтением совершал он некое светлое торжество России и нас, молодых, навсегда посвящал в него».

После Второй мировой войны В. Вейдле преподавал в Европейском колледже в Брюгге, университетах Мюнхена, Принстона, Нью-Йорка. Близко знал европейских знаменитостей — П. Клоделя, П. Валери, Т. Элиота, Б. Беренсона. Свободно владел пятью европейскими языками. И хотя сам предпочитал писать по-русски, но и французы считали его блестящим стилистом. Вейдле был удостоен престижной литературной Риварольевской премии, а министр культуры Франции Андре Мальро наградил его званием «Кавалер ордена за заслуги в литературе».

О мировоззрении, идеологии и тоталитаризме

По формальной классификации исследователей творчества Вейдле его общественные идеи принадлежат к «христианскому либерализму», или, как выразился литератор Юрий Иваск, «новому западничеству»: «Это западничество — не

белинско-герценовское, а христианское, но включающее и античное наследие — общее для всей Европы».

Истинная творческая свобода Личности, лишенная всех партийно-идеологических ограничителей, — вот идеал Вейдле. Философской основой этой позиции является противопоставление им «мировоззрения», которое вырабатывается творческим личностным усилием, — и «идеологии», всегда тяготеющей к утопичности и партийному упрощению. Вот этот замечательный философский фрагмент о фундаментальном различии «мировоззрения» и «идеологии»: «Мировоззрение, — пишет Вейдле, — нестрогое единство, мыслительная протоплазма личности... Идеология — система идей, более или менее умело, но всегда нарочито и для известной цели спаянных друг с другом; система мыслей, которых никто более не мыслит. Их принимают к сведению и тем самым к руководству; мыслить их, это значило бы их подвергнуть опасности изменения. К личности идеология никакого внутреннего отношения не имеет, она даже и навязывается ей не как личности, а как составной части коллектива или массы, как одной из песчинок, образующих кучу песка».

Наиболее органичной основой для творческих мировоззренческих поисков личности, по мысли Вейдле, является христианство — важнейший духовный субстрат европейской культуры. Но там, где выветривается эта первохристианская основа, где понижается тонус культурного творчества, там зарождаются монстры тоталитарных идеологий. Эти идеологии тоже порождены Европой, но Европой дехристианизированной и опошленной.

А что же Россия? Культурная Россия, по мысли Вейдле, — это неотъемлемая часть христианской Европы; эта христианская Европа была в свое время разделена, и ее православная часть была насильно отброшена к Востоку. Но проблема России не столько политико-географическая; она еще и в том, что Россия — самая уязвимая и хрупкая часть европейской культуры: здесь культурный слой как нигде узок. Вейдле часто метафорически уподоблял Россию «огромной ватрушке», которую «скарденная хозяйка едва прикрыла тонким слоем творага».

Вот почему за культуру (и в этом смысле — за Европу) в России приходится постоянно и особенно настойчиво бороться. Огромную роль в выявлении и закреплении европейского призвания России сыграл Петр Великий. Конечно, Петр проделал лишь начатки культурной работы. «Ограниченность его была велика, но все же не превышала его гения... Он воспитывал мастеровых, а воспитал Державина и Пушкина; он думал о верфях и арсеналах, но вернул Европе Россию, а за ней весь православный мир, поворотом с востока на запад восстановил единство христианского мира, нарушенное разделением Римской империи... Он многое в России покалечил и многое окостенил, но в самом главном он успел — как не слишком заботливый хирург, ничего не спасший больному, кроме жизни...».

Действия Петра были во многом импровизацией, порожденной огромной личной волей, но общий вектор развития был угадан правильно. Да и сам Петр воспитывался в европейской христианской традиции. «Когда ему не было еще и двенадцати лет, — писал Вейдле, — в октябре 1683 года, во всех московских церквях служили благодарственные молебны по случаю освобождения Вены от турецкой осады: басурманской столицей та раскольничья, стрелецкая, избяная Белокаменная все же не была. Когда Петр, подросток, растолкал, взбудоражил ее, осрамил и развенчал, когда он всю страну “вздернул на дыбы” и выстегал заморской плетью, многое так и осталось поруганным и оскверненным, но переворот был все-таки направлен верно, окно прорублено на Запад, а не на Восток. Доказательством этому служат все дальнейшие двести лет, и прежде всего тот необыкновенно бодрый и быстрый рост государственной, хозяйственной и созидательно-духовной жизни, которым было отмечено время от Ломоносова до Пушкина».

Владимир Вейдле всю жизнь иронизировал над популярной и до сих пор периодически реанимируемой версией о том, что Россия цивилизационно — не Европа, а некая «Евразия»: «Если называть Евразией Россию, — язвительно замечал он, — то уж, конечно, с меньшим правом можно называть Испанию Еврафрикой... Остается поэто-

му объявить Сида, а заодно и Дон-Кихота национальными героями ливийских кочевых племен, а создавшую их страну — начисто исключить из европейского культурного круга».

О русском европеизме и русской самобытности

Европеизация России, как «возврат в Европу» после долгого отлучения, по мысли Вейдле, принципиально отличается от модернизации стран Востока. Не стоит путать европеизацию России и модернизацию, например, Индии или Японии. «Эти страны (Индия, Япония) сохраняют своеобразие вопреки европеизации и ровно в той мере, в какой она не завершена; Россия заложенное в ней своеобразие только вернувшись в Европу и смогла полностью осуществить. Она стала, конечно, более похожей на западные страны, чем была до того, но это сходство не уничтожило несходства, а сочеталось с ним и привело к цветению, которое вне такого сочетания было бы невысказано...». «Если бы Петр был японским микадо или императором ацтеков, — написал как-то Вейдле, — на его земле завелись бы со временем авиационные парки и сталелитейные заводы, но Пушкина она бы не родила».

Итак, согласно Вейдле, воссоединение с Западом означало возвращение Россией своего законного места в Европе, то есть обретение самой себя: «Русской культуре предстояло не потерять свою индивидуальность, а впервые ее целостно приобрести — как часть другой индивидуальности. Европа — многонациональное единство, неполное без России; Россия — европейская нация, неспособная вне Европы достигнуть полноты национального бытия».

Этот вывод — один из фундаментальных для русского культурного европеизма: свою подлинную самобытность Россия может обрести только в Европе. Наивны или лукавы те, кто думает, что чем дальше от Европы, тем якобы больше самобытности, — дело обстоит как раз противоположным образом: «Утверждаясь в Европе, Россия утверждалась и в

себе. Современникам Екатерины это было так ясно, что споры, связанные с этим, касались лишь частных дел, а не существования дела; и почти столь же ясно это было современникам Александра I».

Итак, ключевой вывод: в Европе Россия не теряет, а, напротив, обретает свою самобытность. «Золотой век» русской самобытной культуры наступал именно тогда, когда Россия была частью культуры общеевропейской. И наоборот: вне Европы Россия теряет свою самобытность. Поэтому европеизм и самобытность не только не противостоят друг другу, а, напротив, плодотворно подпитывают друг друга. Пример тому — великий Пушкин, в котором подлинный европеизм и глубочайшая русскость слились воедино.

Но что же произошло с великой петербургской Россией, казалось бы, вернувшейся в Европу? Последующая историческая драма, по мысли Вейдле, заключалась в утрате правящим слоем России «петровского», культурно-просветительского импульса. Более того: сам «культурный класс», русская интеллигенция, будучи продуктом и двигателем европеизации, сама со временем породила в своей среде настроения и тенденции, ставшие орудием отчуждения России от Европы.

Классический русский спор «западников» и «самобытников» был поначалу вполне внутриевропейским явлением высочайшей культуры. Речь шла о том, на какую Европу ориентироваться: на христианскую и допросвещенческую, еще не затронутую прогрессистскими искушениями, или уже на секулярную, познавшую вкус гражданственности и правового строя? Но родившийся на вполне европейской почве и ставивший по сути общеевропейские проблемы спор отечественных западников и самобытников постепенно внутренне деградировал, что привело к обоюдному партийному самоупрощению обоих лагерей. Личностные культурные усилия заменила «партийность», а мировоззренческий поиск и творчество были подменены все более затвердевающими и не терпящими диссидентства идеологиями. Поэтому как «самобытническая», так и «западническая» партии, равно

деградировавшие, внесли общий вклад в понижение русской культуры, а следовательно, и в отчуждение России от Европы. Их общими жертвами часто становились подлинные европеисты, не укладывающиеся в прокрустово ложе партийных идеологий.

Так, будучи сам убежденным «западником», Вейдле многократно защищал в своих текстах великого поэта, мыслителя и дипломата Федора Тютчева от нападок полунинтеллигентов из формально своего же собственного западнического лагеря, которые записывали европеиста Тютчева в «антизападники» только на том основании, что Тютчев вполне справедливо критиковал «рабское подражание Западу», сравнивая иных русских прогрессистов с «дикарями», «кои бросаются на вещи, выброшенные им кораблекрушением...». Вейдле писал: «Он <Тютчев> не только усвоил европейскую культуру, но и европейскую землю чувствовал своей землей. Мыслил он европейски, т.е. исходя из целого Европы, просто потому, что иначе мыслить не умел, и Россия была для него хоть и Восточной Европой, а Европой. Настоящий Восток был ему чужд, и ничего азиатского он в русском не искал... Тютчев не одобряет русского нарочитого европеизма, т.е. рабского подражания Западу, но это значит также, что двух цивилизаций, двух культур, русской и западной, для него нет, а есть лишь одна европейская, одинаково принадлежащая Западу и России...».

По мысли Вейдле, такие фигуры, как Тютчев (сегодня мы и самого Вейдле можем с полным правом поставить в этот ряд), были абсолютно правы, когда считали русский европеизм проблемой культурного творчества, а не подражательства, потому что в истории русского «западничества» действительно существовали периоды «преувеличений и односторонностей», вроде «галломании» или «пенкоснимательства и западнического чванства, никогда не исчезавших из русской действительности». Псевдоевропеизм русских подражателей, пренебрегавших национальной спецификой и стиравших ее, где только возможно, как это ни парадоксально, мог поставить под угрозу подлинное

возвращение России в Европу: «Опасность денационализации России была реальна, и те, кто с ней боролся, были тем более правы, что лишенная национального своеобразия страна тем самым лишилась бы и своего места в европейской культуре...». Подлинный русский европеизм обязан быть творческим и синтетичным: он «уже не согласится ни с славянофилом, готовым в некотором роде довольствоваться народным тоническим стихом, ни с западником, уху которого стих Кантемира должен казаться более радикально-”европейским” и, значит, передовым, нежели стих Пушкина».

Но еще более губительными для русской культуры стали новые «заигрывания» как русского официоза, так и русского нигилистического диссидентства с идеями «самобытности» (равно высокомерные по отношению к культурной Европе). Новое отчуждение (пусть лишь частичное) России от Европы в последней трети девятнадцатого века имело для России фатальные последствия: «Как только затуманилось для нас лицо Европы, тотчас постигла нас странная сонливость и повсюду стали замечаться уныние, застой, убыль духовных сил. Наши шестидесятники заклеили окно на Запад прокламациями и подметными листками, отказались от всего его богатства ради горсти лозунгов, ничего не дававших мысли, но пригодных для борьбы. Как бы ни расценивать эту борьбу и всю их деятельность с других точек зрения, с точки зрения культуры она была в высшей степени вредоносна. Недаром проявляли они столь крайнюю нетерпимость ко всем инакомыслящим и столь резкую вражду ко всему, что нельзя было поставить на службу политике (разумеется, их политике): к религии, философии, поэзии, искусству и даже к научному знанию, непригодному для пропаганды и не направленному на непосредственное удовлетворение практических нужд». Все это, по мысли Вейдле, привело к «провинциализации» России, очень верно отраженной великим Чеховым, и в конечном счете послужило образованию того умственного склада, который вскоре стал характерен уже не только для верхних, и даже не для средних, но и для низших слоев интеллигенции. Именно этот

слой «полуинтеллигентов», использовавший отчуждение от европейской высокой культуры в качестве своего жизненного субстрата, и восторжествовал в России после Октября: «Полуинтеллигенты пришли к власти, а интеллигенция более высокого культурного уровня оказалась выгнанной или уничтоженной. В России началось снижение культуры, а потом и сдача ее на слом при Сталине, вместе с отчуждением от остальной Европы, достигшем размеров невиданных в послепетровские времена. Россия отходила от Запада... Самобытность она этим не приобретала. Наоборот, чем дальше отходила, тем становилась меньше похожей на себя...».

Каков же был конкретный механизм этого понижения и опошления русской культуры в среде русской «псевдоинтеллигенции»? Здесь Вейдле формулирует еще одну историко-философскую мысль, которую в таком целостном и одновременно четко афористическом виде я более ни у кого не встречал. Речь идет о проблеме «своего» и «чужого» в культуре и истории. По мнению Вейдле, партийные идеологи-полуинтеллигенты, рядящиеся либо в тогу «западников», либо «самобытников» (по сути неважно) и в основном имитируя непримиримые расхождения, на самом деле в главном едины. И те и другие равным образом неправомерно противопоставляют Россию и Европу и тем самым играют в общую контркультурную и в этом смысле антироссийскую игру. «Безоговорочное и непримиримое противопоставление России Западу, Запада России есть ядро идейного комплекса, любопытного прежде всего тем, что его создали и дружно развивали ни в чем другом не согласные между собой умы: исключительные приверженцы всего русского в России и фанатические поклонники Запада на Западе...». И далее: «И те, и другие стремятся возвеличить “свое” путем умаления “чужого”, не понимая относительности различия между своим и чужим, и само стремление это приносит им заслуженную кару, неизбежно приводя к сужению своего, которому начинает отовсюду угрожать их же собственными усилиями раздутое, разросшееся чужое. Ревнивые европейцы окапываются за Рей-

ном и Дунаем, а наши собственные самобытники отступают от Невы к Москве-реке, покуда и Москва не показалась им еще недостаточно восточной». Отсюда общий драматический результат: «Вместо осознания России как органической составной части Европы, от нее временно отделенной и имеющей вернуться в ее лоно, сохраняя при этом свою особенность, свое неповторимое лицо, у нас стремились либо закрепить навсегда ее отдельность, либо совершить непоправимый отказ от ее особой судьбы, от исторической ее личности». В этом смысле «грех» русских радикальных западников Вейдле видел в том, что «им очень хотелось сделать Россию Европой, но они упорно забывали, что Россия уже Европа», и в своем прогрессистском усердии часто безжалостно вытаптывали то, что по сути было европейским.

Итак, самобытники отрицали Европу, а западники отрицали Россию. Но и те, и другие противопоставляли Россию Европе, и большевикам оставалось проделать лишь нехитрую идеологическую компиляцию — совместить пороки обеих концепций: «Революция в советской ее форме, роковым образом унаследовала оба отрицания... Отрицание Европы, от которой она Россию отторгла, и отрицание России, которой она навязала глубоко ей чужой... бездушный технизм». Иначе говоря, большевики, убив Европу в России, радикально отторгли Россию от Европы, но тем самым они уничтожили и саму Россию, нивелировав ее с другими коммунизирующимися сообществами.

«Трудное возвращение в Европу»

Для Вейдле СССР принципиально не был и не мог быть наследником российской государственности: «Ведь эти четыре буквы или четыре слова всего лишь ко всем услугам готовая и ради них придуманная кличка, которая при случае подошла бы к Патагонии или Австралии не хуже, чем к Московии... И обозначает она, конечно, не душу России и даже не ее тело, а лишь универсального покрова мундир, натянутый на нее совершенно так же, как он натянут на многие

другие страны, и который закройщики его готовятся натянуть на весь мир». Равным образом, и РСФСР («Российская советская...» и пр.) ничего общего не имеет с Россией: «Россия тут хоть и упомянута, но в виде прилагательного, как если бы человека назвали не Иваном, а ивановской разновидностью блондинов среднего роста».

В России произошла трагедия, но эта трагедия, по мысли Вейдле, является общей для всей культурной Европы. Ведь уничтожение России как части Европы не может быть безразлично самой Европе. Важно всем признать, что Россия в данной ситуации расплачивается не только за свои, но и за общие, в том числе общеевропейские, грехи. При этом формой расплаты является не только русский коммунизм, но и итало-немецкий фашизм и «нет в мире ни одной страны, вполне неповинной во взрощении этой двойной отравы». Не любил Вейдле и американского дегуманизованного технизма, часто самодовольно противопоставляющего себя «старой Европе». Он полагал, что антикультурный американизм — это такой же «вывих» и «болезнь» Европы, как и советский большевизм: «Россия и Америка... Обе страны поражены наиболее крайней формой утилитарно-технического идолопоклонства, так как все отличия рядом с этим отступают на второй план. В России идолу принуждают поклоняться, в Америке поклоняются ему свободно; первое — страшней, но второе, пожалуй, еще безвыходней».

В конце жизни Вейдле надеялся, что, переболев большевизмом, получив этот исторический урок и преподав его другим нациям, Россия сможет вернуться в Европу и там, своим примером, послужит предупреждением для самой Европы от новых возможных всплесков антикультурной, тоталитарной варваризации: «Разучилась Россия — под кнутом разучилась — мыслить себя Европой, а все-таки, если спасется она из-под кнута, если вернет себе свою историю, она воссоединится с Западом и будет снова не только христианской, но и европейско-христианской страной».

Итак: Россия — часть Европы, но она так же самобытна и единственна, как и любая другая страна Европы. Это па-

радоксальное умозаключение и сегодня может резать слух не только правоверных «самобытников», но и иных западных «идеологов-партийцев», на животном уровне отторгающих сами слова «самобытность», «особое призвание» и пр. И европеист Вейдле хорошо понимал это. «Как это я, прослышавший западником, — вопрошал он, — могу говорить о единственности России... о ее миссии в отношении остальной Европы? Но отчего же нет? Быть Мессией — одно; обладать особым призванием — совсем другое. Давно пора понять, что Россия так же единственна в европейском целом, как Англия или Италия. Причем значение части для целого как раз и определяется ее несходством с другими ее частями». Европа здесь уподобляется оркестровой гармонии инструментов, где каждый имеет свой смысл, свой стиль и свою задачу, но звук которого может раскрыться только в общем симфоническом звучании.

Каков же вывод делает Вейдле из этих историософских размышлений? Он ясен: «Пора вернуться в Россию. Не нам, а России, детям и внукам всех тех, с кем мы расстались, когда мы расстались с ней. Пора им зажить в обновленной, но все же в той самой стране, где мы некогда жили, в России-Европе, в России, чья родина — Европа. Из нерусского, мирового по замыслу, но Европе враждебного СССР пора им вернуться в Россию и тем самым в Европу; пора им вернуться на родину».

Возвращение России в Европу — это возвращение в свою, европейскую культуру. Скончавшийся в 1979 г. Вейдле верил в новую постбольшевистскую Россию, которая просто обязана будет «заново прорубить окно — не в Европу даже, на первых порах, а в свое близкое и родное, но наполовину неведомое ей, украденное у нее прошлое». «Чтобы это случилось, — писал в конце жизни Вейдле, — нужно вымести сор из избы, убрать гнездящуюся по углам путаницу и мертвечину; нужно совесть раскрепостить, нужно выбросить за окно отрепья давно исчерпавшей себя, давно беспредметной идеологии. Срок для этого настал. Люди для этого есть. Пора нашей стране очнуться, прозреть, пора зажить на ветру, а не взаперти, новой, зрячей, полноценной жизнью».

Послесловие

...В молодости Владимир Вейдле считался неплохим поэтом, был завсегдатаем знаменитого поэтического кабаре «Бродячая собака». Но потом он резко бросил стихосложение. Но вот, спустя почти полвека, в семидесятилетнем возрасте Вейдле вдруг снова ощутил в себе поэтический дар. Его подвигла на это Италия — Венеция, Рим, Неаполитанский залив, те самые места, которые он впервые посетил в 16-летнем возрасте и которыми пропитался на всю жизнь (в Венеции, например, он в конце жизни бывал ежегодно — иногда по нескольку раз). Но что характерно?.. Начав в юном годы писать вирши в нарочито усложненном акмеистском стиле, он в конце жизни «впал» (как сказал бы другой замечательный поэт) «в немыслимую простоту», кристальную и строгую, очень далекую от старческого сентиментальничанья. Но и здесь, в поздней философской лирике, Вейдле мучается темой «возвращения» (тракуемого также и как христианское «воскресение») и «невозвращения», безвозвратного ускользания, исчезновения и утраты. Именно об этом одно из любимых им самим стихотворений — «Берег Иский». Это вблизи Неаполя, 1965 год, всего двенадцать строк...

Ни о ком, ни о чем. Синева, синева, синева,
Ветерок умиленный и синее, синее море.
Выплывают слова, в синеву уплывают слова,
Ускользают слова, исчезая в лазурном узоре.

В эту синюю мглу уплывать, улетать, улететь,
В этом синем сиянье серебряной струйкой растаять,
Бормотать, умолкать, улетать, улететь, умереть,
В те слова, в те крыла всей душою бескрылой вращая...

Возвращается ветер на круги свои, и она
В синеокою даль неподвижной стрелой несется,
В глубину, в вышину, до бездонного синего дна...
Ни к кому, никуда, ни к тебе, ни в себя не вернется...

...Здесь невольно приходят на память мемуары Владимира Вейдле о его последнем дне на родине, в июле 1924 г., в любимом им Петербурге (иных названий города он не признавал), накануне окончательного отъезда в эмиграцию. Он вспоминал, как пошел в тот последний день в Эрмитаж, и в пустом зале опустился на колени перед картиной Рембрандта «Возвращение блудного сына»...

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПОРТРЕТЫ



*Борис Николаевич Чичерин и Иван Сергеевич Аксаков: два понимания русской свободы**

Давно отмечено, что изначальный спор классических российских западников и славянофилов был спором о правильном понимании «русской свободы» — о том, в чем она состоит и откуда произрастает, кто является ее выразителем, а кто врагом. Именно отсюда, из спора о русской свободе возникло и общее увлечение немецкой философской классикой, и острые дискуссии о характере и судьбах русского народа. Из этого же корня проросла и системообразующая для спора западников и славянофилов полемика вокруг центральной фигуры русской истории — Петра Великого: дал ли Петр шанс на будущую русскую свободу или, напротив, убил тот потенциал свободы, который был в допетровской Московии... И в этом смысле совершенно прав был Александр Герцен, когда описывал странную «любовь-ненависть» ранних русских западников и славянофилов: «Головы смотрели в разные стороны, но сердце билось одно...». Ведь это обоюдное, сердечное, экзистенциальное переживание было общей тревогой о русской свободе и общей надеждой на ее обретение.

В отечественной истории замечено и другое: последующее вырождение спора российских западников и самобыт-

* Текст написан по материалам доклада на конференции памяти Б. Н. Чичерина и И. С. Аксакова (Москва, июнь 2004 г.)

ников привело к деградации самой России. Я сам многие страницы исписал, доказывая, что русский большевизм — это своего рода «дурной синтез» западничества и самобытничества, результат взаимного опошления, отсечения всего позитивного, и в итоге — обоюдная возгонка русской «Азиипы» (искомой и ненайденной «Евразии», только навыворот), как назвал опошленный результат евро-азиатского взаимодействия Павел Милоков.

В России реализовалось то, чего не хотел никто, — «дурной синтез» западничества и самобытничества. Произошло переплетение западного по происхождению экспериментаторства над народом с имитацией самобытного культа народа. Российская культура оказалась в ловушке; в ней оказались заблокированы оба творческих пути, способные подпитывать друг друга: она оказалась неспособна ни двигаться вперед, к апробированным мировым универсалиям, ни творчески культивировать собственную традицию.

Подтвердилась гениальная интеллектуальная догадка Ивана Киреевского, высказанная в одном из писем Алексею Хомякову, о том, что вопрос не в том, кто в России победит — западники или самобытники. Поскольку и те, и другие абсолютно имманентны России и в принципе неустранимы из нее, важно, не *кто* победит, а *каков будет результат их взаимодействия*.

Последующая история России показала правоту постановки вопроса Киреевским: оба (и западнический, и почвеннический) лагеря в России деградировали соответственно в революционаристско-нигилистический и в консервативно-реакционный проекты. А их взаимодействие и дурной синтез («смесь революции и реакции», как говаривал когда-то Герцен) создали идейные основания коммунистической утопии и тоталитарной практике.

Еще и еще раз анализируя печальную эволюцию западничества и самобытничества в России, приходишь к выводу о том, что их обоюдная деградация происходила тогда, когда вместо позитивной самоидентификации, выявления и предъявления собственного конструктивного потенциала (эти процессы неизбежно вели бы к углублению взаимопо-

нимания, где-то — к прямой конвергенции) эти лагеря начинали структурироваться и жить на основе отрицательной (негативной) самоидентификации. Основным идентификатором западничества стала нелюбовь к традиционной России; идентификатором самобытничества, соответственно, стала ненависть к Западу — вот этот переход к негативной самоидентификации стал трагическим для обоих лагерей. Взаимодействие именно этих тенденций и спровоцировало идейно-политическую войну, как и последующий рост на этом фоне тоталитарного монстра — «Азиипы», дурного синтеза Востока и Запада.

В большевистской утопии можно при желании разглядеть как западнические, так и почвеннические исходные ингредиенты — хотя и изрядно мутировавшие в ходе взаимодействия. Русский большевизм — это результат взаимной подпитки западного мифа об авангардной роли передового класса и почвеннического мифа о благостной и неиспорченной душе народа. Взаимопереплетение просветительского мифа о форсированном прогрессе с консервативной идеей о возвращении к доисторическому «золотому веку» — дало чудовищный результат. Идею прогресса взяло на вооружение варварство.

Могло ли в России произойти иначе? Или, выражаясь словами того же Ивана Киреевского, могли ли оба лагеря в России развиваться так, чтобы их неустранимое взаимодействие оказалось не губительным, а благодетельным для России? Где произошли те доктринальные мутации оппонировавших идей о «русской свободе», которые привели в своем взаимодействии к величайшей в истории Несвободе? А главное: можно ли разрушить этот кармический круг русских «дурных синтезов»? Ведь мы, очевидно, пребываем в одном из них и сейчас...

Все эти вопросы уместно и полезно поставить именно сегодня, когда мы проводим мемориальные мероприятия памяти двух выдающихся представителей оппонировавших русских партий — западника Бориса Чичерина и славянофила Ивана Аксакова. Возможно, именно здесь, в этой точке западническо-самобытного спора о России можно попытаться понять, был ли шанс исторического взаимопони-

мания двух лагерей для их последующего благотворительного взаимодействия.

Разумеется, сегодня мы не в состоянии задним числом помирить старых оппонентов, но мы можем другое: например, вскрыть межпартийные и правительственно-манипулятивные механизмы идейно-политического раскола, а также представить эскиз возможного идеологического «собрания» («конструирования») либерально-почвенного синтеза и формирования в нем иммунных, защитных механизмов от очередного опошления.

В этом смысле представляется, что Борис Чичерин и Иван Аксаков, как исходные фигуры для гипотетического либерально-консервативного примирения, выбраны вполне удачно. Притом что оба они были яркими представителями своих лагерей, они, несомненно, не были их крайними непримиримыми выразителями; они умели видеть «чужую правду» и живо откликнулись на любое встречное движение.

Борис Чичерин либерал-западник, но государственник и в известном смысле «почвенник». Как человек провинциальный, тамбовский, он был совершенно лишен столичного снобизма и был бесспорным патриотом. Иван Аксаков был славянофилом, но при этом несомненным либералом, ставя во главу угла свободы и права не просто народа, а «общества» — «оличенного», как он говорил, народа.

Характерно и то, что в жизни Чичерин и Аксаков неоднократно и по весьма важным проблемам сходились в оценках и пристрастиях — это чрезвычайно важно и дает серьезный шанс на «доктринальное примирение».

Чичерина и Аксакова, например, всю жизнь сближал Пушкин — синтетическая русская фигура, в которой органично и непротиворечиво слились «русскость» и «европейскость».

Многие годы Чичерина и Аксакова сближал еще и Герцен — несомненно культовая фигура для русских свободолюбцев разного толка, выросших на почве отрицания николаевской политики. Оба примерно в одно и то же время (1857–1858 гг.) впервые выехали за границу, и каждый, хотя и порознь, воспользовался этой возможностью для «паломничества» к Герцену, в Лондон.

Обоих мыслителей сблизила и обоюдная симпатия к некоторым практическим деятелям эпохи Великих реформ Александра II, например к Юрию Самарину и князю Владимиру Черкасскому. Материал для сближения здесь очевиден: оказалось, что умные и практичные славянофилы могут в России вполне двигать европейские по сути реформы. Весьма характерна, например, оценка, данная Чичериным кн. Черкасскому: «Хотя Черкасский примыкал к славянофилам, но, в сущности, у него славянофильского не было ровно ничего. Он не поклонялся древней России, весьма неблагоприятно смотрел на русскую общину, не возводил русского мужика в идеал, был поклонником свободных учреждений Запада, а в религиозных вопросах в эту пору был скептик...». И далее — ключевая фраза, которую Чичерин с полным правом мог бы адресовать и Аксакову: «В практическом отношении Черкасский считал более удобным и полезным проводить либеральные идеи под патриотическим знаменем, в чем, может быть, и не ошибался».

Сближало Чичерина и Аксакова и ощущение Москвы как естественного национального центра России. Как известно, в речи по поводу коронации Александра III московский городской голова Чичерин позволил себе слова о том, что «только в Москве можно обрести те крепкие основы, то верное понимание смысла народной истории, то чутье истинных потребностей народной жизни, которые предохраняют от легкомысленных увлечений и от слепого следования за мимолетными авторитетами». Здесь либерал-западник Чичерин наметил верную тенденцию к «опочвовлению либерализма», за что, кстати, ультразападнический, петербургский лагерь развернул чуть ли не травлю Чичерина. А вот славянофил И. Аксаков искренне и с энтузиазмом поддержал тогда московского городского голову.

Итак, мировоззренческое схождение западника Чичерина и славянофила Аксакова оказалось вполне реальным. Но еще важнее то, что возможность в России позитивного синтеза европеизма и самобытности (на основе простой констатации: Россия — это Европа, а европеизм — важнейший элемент русской почвы) доказана в России и практически. Скажу даже больше: в тех исторических результатах, которые

можно отнести к заслугам российского либерализма, мы непременно находим итог совместного труда либералов обеих мастей — как западников, так и самобытников.

Блестящий результат был, несомненно, достигнут в александровских реформах. Здесь усилия западников — Великого князя Константина Николаевича, Александра Головнина, братьев Николая и Дмитрия Милютиных, интеллектуалов-просветителей Бориса Чичерина и Константина Кавелина (не забудем здесь и великих русских женщин-европеисток — Великую княгиню Елену Павловну и баронессу Эдиту Федоровну Раден) — эти западнические усилия благотворно сошлись с действенным либеральным славянофильством кн. Черкасского, Александра Кошелева, Юрия Самарина, с гражданской активностью Ивана Аксакова.

Зримым позитивным результатом западническо-почвеннического либерального синтеза стало и российское земское движение, провинциальный, действенный либерализм, в котором такие очевидные западники, как Иван Петрункевич и Федор Родичев, князья Петр и Павел Долгоруковы, князь Дмитрий Шаховской, умели находить общий язык с земцами-славянофилами типа Дмитрия Шипова или Николая Хомякова.

Русское гражданское западничество и русское свободолоубное почвенничество великолепно сошлись в «либеральном консерватизме» Петра Струве, в «русской северной вольности» литератора Михаила Осоргина, в «христианском либерализме» Федора Степуна, Георгия Федотова и Владимира Вейдле. (Закономерно, например, что главным кумиром юного Петра Струве был не кто иной, как Иван Аксаков.)

И сегодня, как представляется, общая европеистская стратегия на построение в России гражданского общества и правового государства вполне могла бы учесть те многочисленные рациональные элементы, которые содержались в либеральном славянофильстве того же Ивана Аксакова, но были затоптаны и в ходе межпартийных доктринальных междуусобий, и в ходе очередных реинкарнаций отечественной бюрократической «Азиопы».

Напомним, что именно славянофил Иван Аксаков по существу первым (и задолго до большинства западников, быв-

ших зачастую этакими) поставил вопрос о том, что субъектом гражданской эмансипации России должно стать не государство, а «общество», которое он понимал как «народ самосознающий».

Опять же Аксаков одним из первых предупреждал, что «модернизация сверху» (в том числе и при наличии официальной риторики о «западническом курсе») чревата приходом на службу государству безыдейных и беспринципных «опричников», готовых на любое, самое безнравственное действие. (Как верно заметил позднее Иван Солоневич, это, как правило, кончается в России ЧК и ГУЛАГом — и характерно, что своим прямым предшественником в такого рода анализе Солоневич считал именно Ивана Аксакова.)

Именно свободолоубец Аксаков почти полтора века назад прозорливо предупреждал, что имитация и профанация демократии и парламентаризма в известной степени хуже их полного отсутствия, ибо дезориентирует общественное мнение.

И наконец, именно Ивану Аксакову принадлежит ставшая сегодня бесспорной мысль о том, что свобода слова и мнения является неотчуждаемым правом человека, и часто бывают в России ситуации, когда у общества остается только одна возможность борьбы с всеподавляющей властью — сила публичного нравственного осуждения.



Петр Бернгардович Струве и Михаил Андреевич Осоргин: два лика российского либерализма*

Давно отмечено, что в многообразном историческом контексте идей и действий либерализм, как умонастроение и как политика, занимает особое место. В отличие от двух других базовых мировоззрений и принципов — охранительства и радикализма, которые тяготеют к монолитности и иерархичности, либерализм по определению гораздо менее однозначен и монолитен. В нем, в либерализме, заведомо встроена внутренняя динамика, диалогичность, несогласие, порою конфликтность. Можно сказать, что в широком смысле либерализм (и русский либерализм здесь не исключение) — это сложнейшая гамма умонастроений и действий в пространстве между охранительством и радикализмом. Чем это пространство шире и разнообразнее, тем благополучнее и устойчивее общество.

В авторитарном социуме такая внутренняя сложность, саморефлексия («самокопание», как у нас говорят на Руси) могут восприниматься как недостаток — сегодня только ленивый не обвиняет либералов в том, что они не могут договориться... Но замечено и другое: в условиях социально-политической модернизации эта внутренняя динамика либе-

* Текст написан по материалам доклада на международной конференции памяти П. Б. Струве и М. А. Осоргина (Пермь, февраль 2003 г.)

рализма становится (и опыт многих стран это ярко показывает) мощнейшим фактором общественного прогресса. Поэтому понять внутреннюю логику русского либерализма, его внутреннее напряжение и динамику, суммировать интеллектуальные завоевания, осознать причины исторических сбоев — все это огромная работа, и не только историческая, но и крайне актуальная и перспективная.

Понять русский либерализм лучше всего через исследование его внутренней динамики и диалогичности, — не искусственно сбивая русских либералов в некую однородную массу (как у нас часто бывало и бывает), а через пристальное вглядывание в разнообразные лики русских либералов. Понять силовые напряжения этого внутрилиберального диалога, на мой взгляд, самое интересное.

Наша конференция посвящена памяти двух великих русских либералов — Петра Струве и Михаила Осоргина. Их внутренний, во многом заочный (хотя бывал и очный) диалог, диалог двух русских свободолюбцев, логика их согласий и несогласий и станет главной темой моего доклада.

Прежде всего есть достаточно много даже чисто внешних фактов, которые делают этот диалог ненадуманным, вполне корректным и потому потенциально плодотворным. Оба родились в Перми. Оба окончили юридические факультеты: Струве — Санкт-Петербургского, Осоргин — Московского университета. Оба в молодости переболели радикализмом, были осуждены властью за студенческие сходки и, освободившись, отправились в первую эмиграцию. И Струве, и Осоргин несомненно принадлежат к «золотым перьям» русской публицистики, их принадлежность к высшей лиге русской пишущей интеллигенции бесспорна. Оба поддержали Февраль, а после Октября 1917 года перешли в принципиальную и открытую оппозицию большевизму. Оба были выброшены во вторую, послеоктябрьскую эмиграцию и оба умерли на чужбине в годы Второй мировой войны, в оккупированной фашистами Франции: Осоргин в холодном декабре 1942 г. в Шабри; Струве, через год с небольшим, в еще более холодном феврале 1944 г. в Париже.

Но, разумеется, переключка внешних фактов биографии — это лишь пролог к главному — анализу их внутрилиберально-

го диалога, который может многое сказать на тему «общего и особенного в отечественном либерализме».

Я полагаю, что либерализм и Струве, и Осоргина вырос из их патриотизма, из последовательно развиваемой патриотической позиции. Если угодно, и Струве и Осоргин (наверное, здесь сказались и пермские корни), как ни странно, «либералы-почвенники», «фундаментально русские люди». Такое определение: «фундаментально русский человек» — дал своему другу Осоргину другой большой русский писатель-эмигрант — Борис Зайцев. То же определение в полной мере относится и к Петру Струве: как известно, его либерализм (Струве сам это неоднократно подчеркивал) вырос из либерального патриотизма славянофила Ивана Аксакова.

Получается, в основе либерализма и Струве, и Осоргина лежало не некое изначальное «западничество» (об их отношении к Западу еще будет специальный разговор), не обожествление Запада и не посыпание головы пеплом по поводу необратимой отсталости России. Напротив, в основе либерализма и Струве, и Осоргина лежали переживание за Россию и глубокая вера в потенциал России. Поэтому их либерализм хотя и абсолютно принципиален, но совсем не сакрален. Он основан на здравом смысле и достаточно практичен: либерализм для них способ сделать родину более благополучной.

«Либерализм и есть истинный патриотизм» — это центральный тезис Петра Струве, к которому он пришел не сразу. Как и Осоргин, он переболел социальным максимализмом, но верной путеводной звездой для него всегда была позиция Ивана Аксакова.

И главным здесь было не славянофильство Аксакова как таковое, а его патриотизм и антиэтатизм, гениальные формулы Аксакова, снискавшие ему громкую славу общественника: «Наличная русская власть не защищает русские национальные интересы, а предаёт их»; «наличная власть антинациональна и антипатриотична, а потому потакать ей и пресмыкаться перед ней — тоже глубоко антипатриотично». Эти мысли Аксакова стали для юного Струве откровением. Этот парадокс — «власть может быть антинациональна» и «любить такую власть и прощать ей всё — антипатриотично» — сродни прозрению вели-

ких либералов-просветителей, что дестабилизация и хаос могут исходить не только от черни, но и от коронованных особ и правящей лжеэлиты. Произошло разрушение априорного тождества власти и национального интереса. Выяснилось, что наличная власть и национальный интерес — разные понятия (помните у Салтыкова-Щедрина: «не надо путать родину с начальством»). Более того, если власть непатриотична, то патриотично заменить такую власть...

Отсюда и разгадка эволюции взглядов Струве и Осоргина (да и не только их): слева — направо. Поначалу и Струве, и Осоргин ищут наиболее антиавтократичную идеологию и находят ее в левой идее, переживают увлечение социализмом. Именно патриотическое переживание толкнуло Струве сначала к марксизму: известна его фраза о том, что марксистом его сделали не книги, а русский голод 1890-х годов. В конечном счете они оба рвут с левым радикализмом, ибо хотя он на какое-то время и оказывается хорошим инструментом для борьбы с антинациональной властью, сам этот инструмент все более выявляет собственный антипатриотический потенциал, который до времени был скрыт под радикальной антивластной риторикой.

Позже Струве эволюционировал еще правее, к либерал-государственничеству, так как увидел отсутствие патриотизма уже не только во власти, но и в радикальном интеллигентском сообществе. Отсюда критика Петром Струве русской радикальной интеллигенции: та тоже «путает Родину с начальством» и, беззаветно круша «начальство», часто бьет по России. Антигосударственность общества несколько не лучше для Струве антиобщественности государства. Априорной правоты или неправоты нет ни у власти, ни у общественности, и бороться надо не с всякой властью и не с всякой общественностью, а с антипатриотизмом во всех облициях, с «отщепенчеством от России» (термин Струве).

Что касается Михаила Осоргина, то он, как человек более художественного, нежели политического склада, пришел к пониманию истинного патриотизма скорее интуитивно. Впрочем, слово «пришел» по отношению к Осоргину не вполне корректно. Никуда он особенно «не ходил», нигде

«не плутал»... Можно сказать, что Осоргин естественным образом «*пророс в либерализм*». «Либеральный интуитивизм» Осоргина, сочащийся из его произведений и блестяще описанный в мемуарах Бориса Зайцева, своеобразный осоргинский либерализм — это стремление к русской вольности, не разгульно-анархической, а упорядоченной личной ответственностью и нравственным законом.

В конечном счете Петр Струве, последовательно пройдя круги критики антипатриотичности государства, потом критики антипатриотичности общественности, заведомо зная о разрушительном потенциале русского бунта, находит критерий истинного патриотизма в знаменитом тезисе о «*личной годности*». Формулировка этого личностного критерия национального патриотизма — окончательно закрепляет Струве на позициях крупнейшего теоретика либерализма. Много перечитывая Осоргина, его поздние автобиографические «*Времена*», знаменитый роман «*Сивцев Вражек*», я пришел к выводу о том, что и литератор Осоргин во многом стоит на тех же принципах, что и политик Струве. Критерий «личной годности» был для него эталонным всегда, и в первую очередь по отношению к самому себе.

И Струве, и Осоргина можно было бы назвать *русскими протестантами*: оба вернулись к первоисточкам русского диссидентства, где человек более уповал на личностное нравственное самостояние, чем на принадлежность группе. И это логично и также проистекает из их патриотизма: лояльность группе заслоняет личностное отношение к родине. Патриотизм для них — это личностное переживание. И, может быть, поэтому и Струве, и Осоргин, несмотря на то, что оба всегда находились в центре общественно-политической жизни, всегда были так интеллектуально и политически *одинокими*.

Теперь о «западничестве», правильнее сказать, *европеизме* Струве и Осоргина. И здесь мы у обоих наблюдаем сходное самоощущение: *полное отсутствие комплекса неполноценности по отношению к Западу*. Некоторые крупные авторы (в их числе Николай Бердяев) определяли вульгарное западничество как «*подростковый синдром*» — сочетание комплекса неполноценности и острого желания быть, или хотя бы казаться, взрослым.

Так вот, и Струве и Осоргин — это органичные европейцы, «*взрослые русские европейцы*». Со Струве несколько более понятно: он этнический немец, он двухкультурен, и любимый Штутгарт для него — не вполне заграница, а скорее культурно комфортное, органичное место для работы во имя России.

С Осоргиным несколько сложнее. Так получилось, что судьба эмигранта сделала его «*русским итальянцем*», в первую очередь «*русским римлянином*». Осоргин — абсолютно свой в Италии, оставаясь при этом глубоко русским. (Не зря после Февральской революции Милюков предлагал Осоргину пост посла Временного правительства в Италии — лучшей кандидатуры было не сыскать. Тот отказался.) В своей книге «*Знаменитые русские о Риме*», в главе об Осоргине, я привожу несколько фактов этой органичности русского европеизма Осоргина. Он, например, любил писать свои заметки и репортажи на римском Форуме, в т.н. «*домике Цезаря*», сидя на большом удобном камне в тени молодых дубков. И здесь нет никакой стилизации и ни малейшей позы, а есть европейская органика во имя творчества.

Или другой пример: будучи в первой эмиграции, Осоргин неоднократно бывал гидом групп русских учителей, приезжавших в Рим по линии благотворительного фонда графини Бобринской. И он как-то описал сложнейшую гамму чувств русских интеллигентов, когда они ночью, на пустой арене ночного Колизея вдруг хором запели: «*Вниз по матушке, по Волге*». Это был способ выражения культурного восторга породнения с европейской историей, без малейшего признака русского холопства или, напротив, его оборотной стороны — русского хамства.

Следует добавить, что и у Струве, и у Осоргина политический либерализм не заслоняет всего интеллектуального горизонта. Культура для обоих была выше политики. Осоргин вообще был аполитичен: по свидетельству Марка Алданова, основная особенность Осоргина была в том, что «*он был, вероятно, единственным русским публицистом, который политику и презирал, и терпеть не мог...*». Да и для Струве, как для подлинного либерала, культура — есть главное. Поэтому-то в его текстах сам термин «*культура*» — полисемантичен; это аналог и развитой нации, и состоявшегося гражданского общества.

В чем состояли несогласия — и немалые — Струве и Осоргина? На мой взгляд, они наиболее ярко проявились в их принципиально разном отношении к русской антибольшевистской эмиграции за рубежом, и той России, которая осталась в России большевистской.

Струве считал большевизм насильственным разрушением российской цивилизации. Для него это была победа внутреннего и внешнего варварства над исторической культурной Россией. Отсюда его отношение к эмиграции — как к самоспасению культурной России. Согласно Струве, это вообще не эмиграция, а географическое перемещение российской цивилизации, перемещение российской культуры в пространстве. В знаменитой статье «Россия» в 1923 г. он писал, что в «русском беженстве» проявилась не политическая и не социальная эмиграция, а «обусловленное уничтожением элементарных основ хозяйственной и правовой жизни географическое перемещение сознательной духовной жизни России». Струве считал, что русская эмиграция сродни таким историческим явлениям, как перемещение греческой образованности в Италию после падения Византийской империи или исход католиков и католической культуры из стран победившего протестантизма, где католики подвергались религиозным преследованиям.

Что касается Михаила Осоргина, то он относился к эмиграции принципиально иным образом. Известно, что он, например, долго отказывался в эмиграции менять свой советский паспорт. И здесь была своя — глубинная — либеральная логика. «Было бы поистине малодушным настаивать на своей безотечественности и своем бесподданстве! — писал Осоргин. — Нет, я русский, сын России и ее гражданин! Я желаю нести ответ за нее, за ее чудачества, за природные качества ее народа и выходки ее правителей, которых я допустил, я терпел, я не сверг. О нет, этой ответственности я с себя слагать и права не имею, и по совести не хочу...».

Осоргин верил в силу русской нации, способную преобразовать власть. Да, как патриот-либерал он считает, что коммунистическая власть — антинациональна. (Я уже говорил о том, что, по собственному свидетельству Струве, политиком его окончательно сделал народный голод начала 1890-х. Готов ут-

верждать, что окончательно либералом и антибольшевиком Осоргина тоже сделал советский голод начала 1920-х, когда он стал одним из лидеров Комитета помощи голодающим — «Помгола». А что же власть? Она разогнала «Помгол» и посадила, а потом выслала его лидеров, в том числе Осоргина.) Поэтому антинациональность большевистской власти для Осоргина, как и для Струве, совершенно очевидна. Но, в отличие от Струве, Осоргин не считает полезным простую механическую замену этой власти. Должна быть проведена глубинная, содержательная работа нации и общества: «Россия даже из большевизма, явления антинационального и антидуховного, извлечет и извлекает живые в нем соки; энергию, сопротивляемость, дерзание... Если еще очень многим неприметны эти первые ростки будущего России, то это потому, что непомерна затрата сил, идущих на сопротивление: черную, упрямую и сапожищами утоптанную землю пробивают эти ростки; и процент их гибели колоссален; но и жизненность их неодолима. Кто выжил в России в годы революции — того нечем сокрушить; что за эти годы создано там вопреки разрушительной внешней силе — то действительно прочно и жизненно...». Вывод: для Осоргина эпоха большевизма была великой благодаря тому, что была активизирована сопротивляемость национального организма. Нельзя отождествлять завоевания нации и завоевания власти: многое в России делается и будет сделано не благодаря, а вопреки власти.

Сегодня, когда большевистский режим рухнул, можно спросить: кто же оказался исторически более прав из них — Струве или Осоргин? А вот это решается сегодня, когда наследие русской эмиграции возвращается к нам. Струве более уповал на спасительную миссию эмиграции. Осоргин, внесший огромный вклад в культурное творчество эмиграции, верил, однако, и в творческую силу сопротивляющейся и непокоренной большевизмом России. Сейчас происходит эта встреча: встреча двух России, двух культур и двух географий. Наследие эмиграции встречается с постбольшевистской Россией, чтобы восстановить единство русской истории. Насколько плодотворной, нравственно очищающей будет эта встреча — зависит в том числе и от нас.

Библиотека Московской школы
политических исследований

А. Кара-Мурза

Свобода и порядок

Из истории русской политической мысли
XIX–XX вв.

Корректор Л. Бусуек
Компьютерная верстка О. Козак

Подписано в печать 21.09.2009. Формат издания 60x90^{1/16}.
Печ.л. 15.5. Тираж 1000 экз. Заказ №.

Московская школа политических исследований
127006, Москва, Старопименовский пер., д. 11/6.

e-mail: mmps@mmps.su
<http://www.mmps.ru>